

Игорь Васильевич Сеницын

# Клише участи

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Игорь СИНИЦЫН  
**Клише участи**

«ЛитРес: Самиздат»

2019

## **Синицын И. В.**

Клише участи / И. В. Синицын — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Принято считать, что человека формируют обстоятельства и что в идеале он должен находить в себе силы преодолевать зависимость от обстоятельств, но, видимо, только в том случае, если они не созданы миллионами и не являются общими для всех. Фон первой части романа - это так называемая "эпоха застоя" в середине семидесятых годов, действия второй части разворачиваются позже, на другом фоне. Содержит нецензурную брань.

## Часть 1

Он не опаздывал, но выйдя из троллейбуса и через пролом в чугунной ограде рядом с остановкой сразу оказавшись в парке, резво зашагал мимо старого, ремонтируемого корпуса лесотехнической академии. Свернув за угол громоздкого здания, облепленного строительными лесами, бегло оглядел открывшуюся взгляду центральную аллею. Успокаивая себя, что пришел на десять минут раньше, терпеливо прогулялся вдоль клумб, потом уселся на свободную скамейку, положив розы рядом, и тут увидел ее – она шла по дорожке из глубины парка и катила перед собой детскую коляску.

Он не поднялся и не пошел ей на встречу...

Никак не кончалось в этом году бабье лето... Солнечный свет заливал открытую, широкую аллею, где сидел он, но там, где шла она, была тень, свет только редкими лучами пробивался сквозь густую листву высоких деревьев, чья толстая кора напоминала переплетенье морских канатов. На ней была алая, плотно облегающая, короткая мохнатая куртка с длинным ворсом, на молнии и светло-бежевые джинсы.

Он увидел, что спортивный стиль в одежде ей тоже идет. Еще бы – с ее-то фигурой, с ее стройностью. Но куртка – эксклюзив, какое яркое пятно! Разве кормящая мать должна позволять себе такое! Как же она красива... Она тоже заметила его и помахала издали рукой. В этот момент ребенок в коляске, видимо, выплюнул соску, во всяком случае она нагнулась к коляске что-то там поправляя, лицо ее при этом было абсолютно счастливо. Он ревниво отметил это, одновременно сознавая, что сам для нее в лучшем случае может быть лишь некоторым развлечением в период декретного отпуска. А на что еще он мог рассчитывать? Он и на эти-то встречи не мог надеяться. «Пусть, – лицемерно уговаривал он себя, глядя, как ее стриженные волосы от наклона головы соскользнули вперед, нависнув и симметрично закрыв поллица. – Взаимность вообще не имеет никакого значения, довольствуйся тем, что ее видишь. Будем считать, что и это слишком щедро. В который раз он ее видит- в пятый, в шестой?.. В философии это называется – «скачок». Жил-жил, ни о чем не тужил... и на тебе. Когда она подошла, он все еще не вполне отдавал себе отчет в том, что все происходит наяву.

– Ну, здравствуй, – она легко улыбнулась, увидев, как он на нее смотрит. – Извини, что я не одна. Мама на работе, и мне не с кем его оставить.

Она стояла перед ним. Для нее все было естественным, нормальным.

– Бог знает, что ты говоришь... Я, вообще, не надеялся увидеть тебя сегодня. Каким временем я располагаю?

– Через час мне надо быть дома. Это мне? Спасибо, но ты ведь понимаешь, что я не смогу их взять. Что прикажешь отвечать, когда дома спросят, откуда у меня розы?

– Выкинь на обратном пути.

– Лучше оставь их у себя.

– Очень удобно, можно еще кому-нибудь преподнести.

Здесь они только встречались – по центральной аллее все время сновал народ, ее могли увидеть соседи, знакомые... мало ли. Он поднялся и они направились в нижнюю часть парка. «Теперь я знаю, чего хотеть от жизни – всегда быть с ней. И по тому – удастся ли ему это – можно будет судить, удалась ли вообще его жизнь. Ну, почему я не встретил ее раньше? Хотя, какая разница? Разве в этом дело?».

Навстречу прошла молодая негритянская пара с маленькой девочкой – неподалеку находилось общежитие для иностранных студентов, и как-то раз они уже видели это семейство здесь, в парке. Чувствуя себя старыми знакомыми, приветливо раскланялись.

– Мне кажется, они догадываются, что мы не муж и жена, – сказал он, чтоб произнести вслух это сочетание – муж и жена – применительно к ним, пусть и с отрицанием. – И сожалеют, что это не так.

– Красивая у них девочка, и всегда так нарядно одета.

Дойдя до малолюдного места, они сели на скамейку. Жирные чернокрылые птицы валяжно расхаживали вокруг по зеленой траве. Не хотелось признавать в них ворон – в раю птицы безымянные. Она попросила сигарету.

– Тебе, наверное, нельзя при твоём теперешнем состоянии.

– Я не кормлю. Да у меня молока и не было почти, – фильтр сигареты испачкался в помаде плавно очерченных губ. В ней смешалась русская и армянская кровь, наверное, поэтому она была так необыкновенно хороша.

– Шикарная куртка, в ней ты кажешься ещё недостижимей, – сегодня его так и тянуло говорить «красивости», черт знает почему.

– Теперь, после таких слов придется носить ее, не снимая ни днем, ни ночью.

– Очень хотелось бы в этом убедиться, особенно ночью – как и в чем вы ложитесь спать.

– Зрелище вряд ли доставит удовольствие. Вид двадцатипятилетней женщины, обезображенной бесконечными родами, превратит вас в женоненавистника, а как я уже успела заметить, это вступило бы в мучительное противоречие с вашими природными, истинными склонностями.

– Все время забываю, что ты умнее меня.

– Вещь невозможная. Мне еще не приходилось встречать таких умных мужчин, – она продолжала подыгрывать ему и не сердилась.

– А не надо было кончать консерваторию, там ведь все недоделанные, я имею в виду мужской пол.

– О, это ты зря..

– Ну, как же! «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе...». Ты этого своего однокурсника имеешь в виду? Что же касается женоненавистничества... Надо же, не запнулся. Но ты заставила меня вспомнить мою бабушку. Когда у нас на пятом курсе началась гинекология, она сказала мне с грустью: «Теперь, когда ты с этим познакомился, ты разочаруешься в женщинах».

– У тебя была мудрая бабушка. Или он еще жива? Прости я не знаю, – сказала она, осторожно покачивая коляску и подчеркнуто в сторону выпуская сигаретный дым.

– Нет. Но, вообще, я ее плохо знал. Меня воспитывал дед. На всех детских фотографиях я запечатлен только с ним, и ни разу с ней. Впрочем, не только с ним...

– Чему ты усмехнулся?

– Мы жили на углу Чайковской и Фонтанки, под боком с Летним садом и дед, естественно, часто водил меня туда. Есть снимок, где я стою рядом с одной из мраморных скульптур – такой классический пай-мальчик, в коротких штанишках, с коротко остриженной челкой...

– Ну и что? В каждой ленинградской семье есть такие фотографии. Черно-белые.

– Конечно. Но недавно я взгляделся в надпись на табличке у статуи. Из всего сонма скульптур Летнего сада я оказался заснятым рядом с аллегорической фигурой сладострастия. Уверен, что фон был выбран не нарочно, но, значит, так было угодно провидению.

– Забавно. Взгляни на часы.

– Четверть пятого.

У них еще оставалось полчаса... Сидя в пол-оборота к ней, он откинулся на спинку скамьи. Ни слова не было сказано из того, что хотелось сказать. Он откровенно любовался ею, тем, как меняется освещение ее лица, повернутого к нему в профиль – дрожащие на ветру листья всякий раз иначе пропускали солнечный свет, и теплое веяние ветра приносило успокоение в его душу. Он видел, что она становится беззащитной под его взглядом, и не потому, что ей

просто нравилось, как он на нее смотрит – к обожающим взорам мужиков она, видимо, привыкла, но сейчас какое-то едва уловимое смятение мешало ей. Когда она обернулась к нему, чтобы прервать это его очередное молчаливое признание в любви, он испугался открытой и внезапной отповеди глаз «Ну, и что дальше? Ты же понимаешь, что это невозможно».

– Что ты читаешь? – он заметил, лежащую в коляске поверх детского одеяла, книгу.

– Чехов.

– Можно взглянуть?

Пьесы. Он стал листать... «Невозможно. Кажется, это и впрямь невозможно. Скажи она это вслух, было бы легче – тогда еще могли бы обсуждаться варианты... С другой стороны – он ей не безразличен, раз она была вынуждена так посмотреть на него. Этот ее взгляд касался не только его, но и ее тоже, он касался их обоих – вот, что она хотела сказать своим взглядом. И разве в ее глазах не было грусти? Ты ведь разглядел эту грусть в ее взгляде и именно это поразило тебя больше всего».

– Ты читать сюда пришел?

– Никогда не разделял благоговейного отношения интеллигенции к этому автору. Хотя в интернатуре я вел шестую палату, палату номер шесть. В нее помещали больных с гангренами нижних конечностей... Почти всегда дело заканчивалось ампутацией в верхней трети бедра. Это была самая скорбная и зловонная палата на всем отделении. Летом всегда мухи, культки часто нагнаивались, не вынесенные вовремя судна, санитарок не дозваться... Антон Павлович писал, что за двести лет ничего не изменилось несмотря на прогресс в медицинской науке. С тех пор прошло еще сто лет, и опять ничего не изменилось. В палате номер шесть.

– Изменилось. В рассказе речь идет об умалишенных.

– О, вижу, что Чехов для тебя не тайна за семью печатями. А мы кто, по-твоему?

– Можно я промолчу, или от меня требуется тоже произнести что-нибудь этакое по поводу Чехова?

– Слушай, это какая-то война на уничтожение, тактика выжженной земли... Слова нельзя сказать.

– У меня к тебе просьба, видишь – у коляски решетка внизу и шипы торчат. Загни, пожалуйста, я о них все ноги исцарапала.

– А у тебя, как будто, мужика в доме нет, – пробурчал он, покорно опускаясь на корточки. Покончив с последней спицей, не поднимаясь, повернулся к ней и уткнулся подбородком в ее колени... Она не трогала его.

– Чего ты ждешь? Что, взъерошив твои волосы, я стала бы проникновенно шептать, какой ты хороший, славный? Встань сейчас же. – спокойно произнесла она, словно до этого сотый раз все взвесила, и опять выходила безысходность. Он резко поднялся и, презрительно взглянув на нее, тяжело плюхнулся на скамейку. Вставая, он задел коляску, и ребенок, до того мирно спавший, стиснутый пеленками, обеспокоенно заворочался.

– Вот видишь, что ты наделал? Потревожил сон... – притворно сердилась она, раскачивая коляску и ища примирения. – Какое ты имел на это право? – и видя, что он все еще набрякший, продолжила – Недавно мы гуляли с ним здесь, какая-то старушка заглянула в коляску: «Ой, – ангел небесный!», и правда – только в эту пору человек чист, одно любопытство и доверие к окружающему миру.

– И, как всякий ангел, целиком зависим от чужой воли. Ничего хорошего. Вот сейчас, ты ведь не согласишься находиться в чьем-либо распоряжении.

– Знаешь, – ответила она после паузы, – на самом деле я всегда этого хотела – кому-нибудь принадлежать.

«И в этом она права. Конечно, куда нам...» – подумал он, снова замороженный игрой света на ее лице... Их первая встреча была мимолетной. Знойный, июльский день, сверкающая

вуаль фонтана у Казанского собора, невесомые брызги долетают до лица... У него было здесь деловое свидание с Кариной, и та сказала, что поджидает подругу. Он поговорил с Карой и уже собирался уходить, как подошла она, под руку с мужем – высоким, плечистым, самоуверенным. Оба очень хорошо одеты, и она так по-домашнему уютно льнула к его плечу, как к верной опоре в вечной любви. Они недавно вернулись из Польши, где муж служил офтальмологом в нашем военном госпитале, и выглядели лучезарно-счастливой парой. Тогда он не подумал о ней так, как бывает при знакомстве с красивой женщиной, просто шевельнулось что-то, похожее скорей на зависть. Устыдившись своих отечественных брюк, отклонил предложение пойти посидеть с ними где-нибудь в баре, сделанное с их стороны лишь из соображений этикета, и они раскланялись. Но что-то заставило посмотреть им вслед. «Ты права, твоя подруга, конечно, красивая женщина, – сказал он потом Каре, – но мне, что до этого?». Тогда, у Казанского, он не мог за одно мгновение разглядеть в ее карих глазах того, что потом будет видеть в них всегда – усмешку и грусть одновременно, и что будет так ему нравиться всегда.

– Кому-нибудь принадлежать... А разве ты не принадлежишь ему? – указал он на коляску.

– Оригинальное умозаключение... Молодец. Слушай, как ты оказался в армии? Сам захотел? Костя- понятно, он академию заканчивал, а ты?

– По приказу министра обороны. У нас же военная кафедра в институте была, мы все лейтенанты медицинской службы после выпуска. И нас призывают на два года офицерами. Все по закону.

– Это я знаю. Но, не всех же призывают. Неужели нельзя было увильнуть как-нибудь?

– Можно было, конечно, но я решил, лучше уж в армии, чем два года торчать в поликлинике, куда я был распределен. Хоть денег заработаю. И потом, чему ты удивляешься? Ты ведь тоже офицерская жена, да и папа у тебя военный медик.

– А как твоя жена к этому относится, к твоей службе в такой дыре? Она там работает или дома сидит, как я во Вроцлаве в свое время?

– Она живет и работает здесь. Тебе Кара не говорила – мы практически в разводе... Все никак не можем решить точку поставить.

«Зачем он это ей говорит? Ведь ей абсолютно все равно, женат ты или нет. Так же, как тебе до лампочки существование Кости. Это никак не заслоняет главного».

– Когда ты летишь?

– Завтра. Я говорил.

– Я помню. Во сколько?

– В шестнадцать часов. А что? Ты хочешь знать точное время, когда я реально, то есть уже и впрямь, начну витать в облаках?

– Просто хотела знать, когда у тебя самолет. Мне пора, извини.

Прежде, чем встать, он все-таки решил и достал из кармана сложенный лист бумаги.

– Прочти, когда уеду. Бред, конечно, но раз уж сподобился... – он недовольно сощурил глаза. – Мне надо таблетки глотать, что-нибудь седативное, прежде, чем тебя увидеть... И после тоже.

...Он поцеловал ее, когда они вышли из парка, и ей оставалось только перейти дорогу, чтобы попасть в свой двор.

«Она забыла выкинуть розы» – заметил он, глядя ей вслед.

... Дома ему сказали, что звонил какой-то мужчина, спрашивал его. И вскоре раздался звонок.

– Добрый день. – Он узнал голос и его сразу насторожил неожиданно развязный и надменный тон, не суливший ничего хорошего.

– Нам надо поговорить. – продолжал Костя все тем же деланно небрежным тоном. Похоже, ему стало все известно, но как, откуда? – Ты не находишь?

– Я готов, – не зная, что именно произошло, он ответил скупой и осторожно.

– Ты знаешь бар от ресторана «Баку», на Садовой? Завтра в шесть тебя устраивает?

– Завтра в это время я буду в Мурманске. Могу встретиться только в первую половину дня.

Костя замолчал, что-то медленно обдумывая... – Нет, утром не получится, не могу я. Собственно, я вот что хотел сказать – ты больше не звони к нам домой. Никогда в будущем. Ты понял?

“Что ж, лично для меня это облегчение, – подумал он, вешая гудящую трубку. – Теперь все, кого это касается, информированы. Но я так и не узнаю, что именно произошло? Какой у него был дуэльный тон! – он усмехнулся, чтоб заглушить нахлынувшую пустоту и гадливость. – Напрасно... Адюльтера-то в действительности нет, исключено ею с самого начала. Так что тебе, Костя, в сущности нечего терзаться. Тебе, красавцу и счастливчику, нечего терзаться. И трубки швырять не надо, особенно в таком разговоре».

Опять зазвонил телефон.

– Как тебе это нравится?

– Что случилось? – это была радость снова услышать ее.

– Он стоял на другой стороне улицы, когда мы выходили из парка... Я не успела помешать ему позвонить.

– Он правильно поступил, нам действительно надо поговорить.

– Комедианты.

Он представил ее лицо сейчас.

– Я могу увидеть тебя завтра утром?

– Нет. Не придавай этому большого значения. Все, я больше не могу говорить.

## 2

Север, как и положено, встретил холодом и темнотой, наметившейся к концу сентября полярной ночи, которая все сгущалась и сгущалась за окнами автобусов, пока он с пересадкой проделывал знакомый, долгий путь из аэропорта Килп-Ярве. По всему побережью шел дождь вперемежку с мелким, колким градом, и в Северноморске он промок до нитки в ожидании катера, стоя на, вытянутом в длину, открытом всем ветрам, пирсе. К последнему рейсу скопилось куча народу, и военного, и штатского. У большинства был озабоченно усталый вид – время позднее, выходные закончились, завтра рано вставать, а до дома они доберутся еще не скоро, вдобавок эта мерзкая погода. Никого из своих сослуживцев в ожидавшей толпе он не заметил, нескольких офицеров во флотских шинелях просто знал в лицо, встречаясь с ними в гарнизоне. Над холодными волнами носились чайки, диссонируя с терпеливым оцепенением толпы. Он подумал, что птицам, наверное, это кажется странным – вокруг сколько угодно свободного пространства, а людская стая сгрудилась в одной точке, словно здесь как-то по-особенному плещет вода, натываясь внизу на черные, просмоленные сваи. На память приходили эпизоды, связанные с таким же ожиданием катера на Полярный, и всегда это было в чем-то одинаково. Одинаково постыло. Кроме самого первого раза, когда вместо тоски была надежда и нервное предвкушение неизвестного. Но потом это вылилось в стойкое ощущение границы, за которой качество жизни резко ухудшалось независимо оттого, откуда он возвращался. Для него на этом пирсе заканчивался материк.

Сейчас он вспомнил, как весной ездил по служебным делам в Северноморск, и вечером забрел в ресторан «Чайка», что неподалеку от главного управления Северноморстроя, и там в кабацком угаре допоздна отплясывал с пышнотелой, черноволосой девахой, бесшабашной и

бесстрашной. Она то и дело отлучалась, выбегая на улицу, где у входа была оставлена коляска с грудным малышом, племянником, за которым ей было поручено присматривать и от которого она с непреклонной решимостью избавилась в острых, нервных переговорах с подошедшей к закрытию ресторана сестрой, желавшей пристроить ребенка еще и на ночь. Освободившись от не принадлежавшей ей обузы, его партнерша стала еще раскованней. Бесконечно долго, так долго, что он успел протрезветь, они пешком добирались до ее дома. Никогда прежде он не бывал на этой окраине Североморска. Неплохо зная центр города, он никак не ожидал обнаружить такое захолустье. Обширное, пыльное плоскогорье с редкими, далеко отстоящими друг от друга, одноэтажными халупами довоенной постройки вдоль грунтовой дороги. Далеко слева, внизу за обрывом, виднелся залив с хаотично разбросанными по водной глади военными кораблями, казавшимися отсюда макетами. Изнуряющее ночное солнце делало все вокруг нереально безжизненным, как в загробном царстве. Он уже привык к ярко освещенной, безмолвной пустоте здешних белых ночей, лишенных, в отличие от петербургских, какого-либо романтического ореола, но сейчас солнечный свет особенно угнетал его своей неестественностью, неотступным напоминанием о том, где он пребывает на самом деле. В какой-то момент стало казаться, что ему уже никогда не выбраться из этого странного предместья. Дальше все было узнаваемо: захламленная тесная комната, грязная посуда на кухне, ненужные извинения за якобы случайный кавардак, неприбранное ложе, пустые картонные коробки на полу... Он, собственно, уже ничего хотел, но чувствуя себя обязанным по отношению к своей новой знакомой, постарался языком... потом мертвецкий сон на три-четыре часа, и после пробуждения поспешное бегство, голодным, небритым, сюда на причал...

Вместе со всеми он молча всматривался в черноту над заливом, отрешенно и стойко перенося порывы ветра.

Впереди второй год службы, после чего все придется начинать с нуля. Однокурсники за это время уйдут далеко вперед, станут профессионалами, науку будут делать; а на его долю ничего другого не останется, как завистливо выслушивать их рассказы, как они прооперировали то-то и то-то. В приличную клинику не возьмут, два года в должности начальника медицинской службы отдельного военно-строительного батальона в системе Североморстроя – это не реклама. Он с раздражением оторвал от чемоданной ручки багажный аэрофлотский талон – последнее напоминание о закончившемся отпуске.

Наконец, показался топовый огонь катера. Обогнув, стоящий на рейде эсминец, катер подошел к пирсу.

Спустившись в трюм, отыскал свободное место и, устроившись, попытался вздремнуть, но не получалось – в голову лезли все те же унылые мысли. Пересыщенный желтым, свет матовых ламп заполнял тесный трюмный отсек и был так же неприятен, как грохот и вибрация от работающего где-то рядом двигателя. Раздражал и опрятный до тошноты запах свежей корабельной краски. Детали селекторной связи из грубой коричневой пластмассы, надраенные вентили, рукоятки... – дизайн, подчиненный прежде всего соображениям надежности, долговечности, и поэтому обделенный красотой.

Компания пожилых мичманов, сидевших напротив, вяло, с зевотой, вела разговор о служебных неурядицах. Две женщины в одинаковых шерстяных платках спали, уронив головы друг другу на плечи. В салоне наверху искали партнера в домино... Сколько раз все это было перед его глазами, когда он по разным делам пересекал Кольский залив в том числе и из конца в конец, один или с кем-то, трезвый или в подпитии, в штатском или в форме, но всегда с той или иной мерой тоски, освободиться от которой он мог только через два года, в предписанный срок. Несмотря на дождь, он решил выйти на палубу, не сколько хотелось курить, сколько надоело сидеть в духоте.

Приносимые ветром брызги смыли теплые, липкие запахи катерного нутра. Низко проносились тучи, чуть медленнее плыл берег – невысокие гранитные сопки, абсолютно голые, с почти плоскими вершинами. Сплошной чередой. Ночь, небо, вода, камень. Сотворение мира здесь только начиналось и еще предстояло разбирать и обтесывать грубый строительный материал, пока кое-как сваленный на краю света. Внизу, отталкиваемая помятым бортом, как шампанское пузырилась и шипела черная вода.

Через сорок минут, в полной темноте, катер пришвартовался в портопункте «Кислая». Это и был Полярный. На берегу, вблизи, грозное величие севера исчезало. Размытую в угольную грязь дорогу тускло освещали редкие, раскачиваемые ветром, фонари на деревянных столбах, укрепленных у основания горами камней, наваленных в бревенчатый колодезный каркас. По обе стороны от дороги возвышались сопки: справа дикие, слева освоенные – сараи, пакгаузы, артсклады за колючей проволокой, башенные краны на строящемся молокозаводе... У подножья неприметное кладбище, когда-то поразившее его лаконичными, ничего не раскрывающими надписями на надгробьях, хранившими в тайне обстоятельства гибели военных моряков в мирное время, среди которых было много его ровесников. Вверху, в тоскливой мгле мерцали разбросанные по вершине сопки огоньки щитовых казарм военно-строительных частей.

Рейсовый автобус не пришел, и до батальона предстояло добираться пешком. Он решил не идти низом по дороге, иначе пришлось бы тащиться километра два, огибая сопку, до дорожной ветки на КПП. Наметив кратчайший путь, он свернул с дороги и стал взбираться по склону сопки, следуя едва заметной тропке, что вела наверх по скользким валунам. Он рассчитывал выйти прямо к штабу, но когда совершенно вымокший и перепачкавшийся, наконец, поднялся на вершину, то к своему удивлению наткнулся на высокий, дощатый забор. «Что еще за новшества?» – с неприязнью оглядел он неожиданную преграду. Незадолго до его отъезда в отпуск сменился командир части, и забор, конечно, был его инициативой, видимо, решил начать с территориального самоопределения. Теперь только колючей проволоки не хватало, чтоб совсем, как на зоне.

Помятуя о том, что в каждом заборе есть дыра, он вскоре ее обнаружил.

В окне дежурного по штабу горел свет. Дежурил Дейнека – сержант срочной службы. Доложив о своем прибытии и узнав, что все идет, вроде, по-прежнему, он направился к себе. Новая неожиданность – крыльцо санчасти снесено, дверь заколочена. Обойдя штабной барак с торца, увидел новый вход.

В пустом коридорчике санчасти царила затхлая тишина. Полный самых скверных предчувствий, он толкнул дверь каморки, где прожил первый года службы. В ней едва умещалась пара коек в два яруса: на верхней спал он, на нижней фельдшер – младший сержант срочной службы, призванный в армию после третьего курса ярославского мединститута, откуда был отчислен за неуспеваемость... Хороший и избалованный им парень. Впритык к койкам удалось втиснуть распиленный пополам столик, так как целый никак не вмещался, и один стул. В санчасти имелись и более просторные помещения, и поначалу он выбрал для своего проживания аптеку, но уже в октябре температура там не поднималась выше плюс четырех. Ему надоело спать, забираясь под несколько одеял, предварительно напялив на себя ватную телогрейку и шапку-ушанку, обязательно завязывая на ней тесемочки, и вскоре после некоторых колебаний он перебрался в фельдшерскую комнату, которую в силу ее малой кубатуры можно было прилично обогреть с помощью «козла» – так солдаты называли самодельную электропечь с толстенной спиралью. Батальон специализировался на отделочных работах, и такими печками обычно сушили сырую штукатурку. Когда «козла» включали в сеть, напряжение в санчасти падало наполовину. Позже выяснилось еще одно достоинство этой комнатенки... Проверяющее флотское медицинское начальство, ознакомившись с условиями жизни врача части, не предъявляло к нему излишних претензий.

В нос ударил знакомый запах родной норы – кислая смесь курева, портянок и гуталина. Манов, отравивший за время его отсутствия пышные, черные усы, читал потрепанный детектив, лежа в одних трусах на давно не меняемых простынях. Из консервной банки на столе выпирали, до отказа напиханные туда, папиросные окурки. Увидев своего командира, стервец – подчиненный не шелохнулся, но физиономия расплылась в радостной улыбке.

– С прибытием, товарищ старший лейтенант! А мы вас только завтра ждали. Как отдохнули?

– Нормально. Не задавай глупых вопросов. Лучше скажи, что тут стряслось, пока меня не было? Заборов, смотрю, нагородили, санчасть не узнать...

– Выселяют нас. Здесь разместят четвертую роту, а нам приказано перебираться к Евдокимову. Точнее, на место Евдокимова.

– А его куда?

– А это никого не парит. Они же из милости у нас жили. Хватит, пусть ищут место у себя в отряде. – в разговоре принимала участие только стриженная, как у гоголевского парубка, голова. Скрещенные на скульптурном торсе руки оставались неподвижными, и это почему-то бросалось в глаза.

– В общем, замела новая метла.

Бросив мокрую кепку на стол, он продолжал стоять у двери. Ему не хотелось присаживаться, ему хотелось убежать отсюда.

– ЧП по нашему департаменту были?

– Нет. У нас нет. У Евдокимова плохо – менингит, шесть случаев.

– Да ты что?

– Только вы уехали, пригнали новый набор, сорок человек, все из Грузии. А стариков еще не успели уволить. В казармах теснотища, а их еще сразу на фасады кинули. Тут погода испортилась, хуже, чем сейчас. Стали болеть, орз, орз... И тут бах! – двоих из роты волокут, без сознания, температура сорок... На другой день еще трое! В общем, досталось Евдокимову. Главный инфекционист флота прилетел из Москвы, полковник, неделю здесь сидел.

Пока Манов рассказывал об эпидемии, он все с большим отвращением осматривал голые, зеленые стены с потрескавшейся штукатуркой, свою койку, застеленную армейским шерстяным одеялом отвратительного фиолетового цвета, Вовкину гимнастерку с несвежим подворотничком, небрежно брошенную на спинку стула... – от всего разило унижительной обособленностью, скудостью, отлучением от нормальной жизни. Второй год будет еще тяжелее.

– Из госпиталя пока никого не выписали. Один, говорят, оглох.

– Инфекционный менингит – это не шутки, летальность выше, чем у чумы.

Ладно, принеси белье – он стянул с себя куртку. – Пепельницу захвати, выкинь. С завтрашнего дня здесь не курим. Все.

### 3

Утром его настроение несколько улучшилось. Выйдя на воздух, чтоб поскорее избавиться от утренней дремы, он с четверть часа постоял на покатою гранитном валуне рядом с штабным баракком – давно облюбованной им смотровой площадкой.

Дождя не было, с востока задувал бодрящий ветер, а на вершинах дальних сопок на другом берегу залива отчетливо белел, выпавший за ночь, первый снег. Еще дальше, за панорамой сопок угадывался простор Баренцева моря.

Под ногами ощущалась немислимая твердь сотни метров сплошного гранита. С этого места была видна бухта с портовыми причалами и неширокая полоса залива – все внизу, в обрамлении неопрятно пестрых, скалистых сопок. По заливу, как предписано – в полном одиночестве, в направлении Мурманска медленно продвигалась дизельная подлодка. С высоты,

она казалась черным штрихом, случайно нанесенным на серый холст подрамника с пейзажем залива.

Ниже по склону располагались постройки соседней части, где служил Евдокимов. Такие же одноэтажные щитовые казармы, как и у них, что находились с другой стороны штаба, на возвышении сопки. Там же была столовая, куда он был обязан ежедневно навещать и снимать пробу, расписываясь в амбарной книге, и периодически проверять санитарное состояние камбуза, маркировку бачков, разделочных досок, ножей; проверять правильность обработки солью колоды для рубки мяса... Перед столовой было некое подобие плаца, где личный состав выстраивался по утрам на развод. Свое присутствие на разводе он считал необязательным и похерил это дело с первых дней. Он полагал, что имеет на это право, в конце концов, он был единственным офицером, который проживал на территории части, неотлучно находясь на службе, и днем, и ночью.

Ну, а выше было только небо, и неважно, что абсолютная высота над уровнем моря была не так уж велика. Главное, что над ними, на этой сопке, ничего более не возвышалось. Как и в социальной иерархии, это обстоятельство могло служить некоторым утешением. Из-за постоянного ощущения вершины он на первых порах с осторожностью ступал по гладким каменным глыбам, особенно зимой, хотя чрезмерно крутых обрывов тут не было. По той же причине предпочитал ходить в яловых, а не в хромовых сапогах – помимо того, что яловые теплее, они не так скользили.

Пока курил, лодка скрылась за скалами. Он не испытывал зависти к ее экипажу, к подводникам. В известном смысле все они служили на лодке Севера стратегического – и пограничники, и ракетчики ПВО, и летчики морской авиации, береговые службы тыла, и даже они – военные строители. Вся мощная структура флота работала прежде всего на лодку. Он ценил высказывание Амундсена: «Людам не место в Арктике». И под водой людам не место. Если сформулировать точнее – людам не место там, где возможность созерцания внешнего мира исключена.

Он смотрел на снег, который как белый лишайник, пятнами покрывал плоские вершины дальних сопки, и гадал, растает ли этот первый снег или теперь уж будет лежать до прихода зимы, когда все вокруг превратится в сплошное снежное месиво. То, что снег выпал только там, вдали, еще больше подчеркивало суровую отчужденность горизонта над предполагаемым пространством моря, скрытым от взгляда бесконечной грядой сопки. Казалось, что мир в том месте еще неприступнее, еще холоднее, но в чем-то, и возвышенней, и величественней. Он подумал, что раз судьба занесла его на богом забытую скалу в Заполярье, то лучше бы ему трудиться на ней каким-нибудь сейсмологом или метеорологом. Это было бы куда естественней – таким вот морозным утром, забравшись на метеорологическую вышку, снимать показания приборов, измеряющих направление и скорость ветра, атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, запускать в небо шаровые зонды... и отвечать только за погоду, за природные явления, сведя к минимуму контакты с людьми. Не из-за того, что он такой уж мизантроп, но жизненные аномалии легче переносить в одиночку, ни с кем не общаясь. «Метеорологом... Мели Емеля... Извилин у тебя не хватит быть метеорологом. Однако, надо чего-нибудь пожрать, до обеда еще далеко. Господи, да тут до всего далеко! Кто бы знал... Особенно до теплого сортира».

#### 4

...Неделя ушла на переезд. Он уговорил свое начальство не выселять Евдокимова, деваться тому и впрямь было некуда, а объединение медицинских служб двух батальонов под одной крышей имело свои преимущества, и, наконец, не такой человек был Евдокимов, чтоб

безропотно покинуть насиженное место. Собственно в территориальном плане ничего не изменилось – они просто переехали из одного торца штабного барака в другой.

Итак, они организовали общую санчасть. Все, что ни делается, делается к лучшему. Это еще больше сблизило их, вдвоем веселее, кроме того практичный Евдокимов сумел придать их совместной комнатухе вполне жилой вид. Они взяли напрокат холодильник, за бесценок приобрели у кого-то старенький телевизор с единственной работающей программой, купили торшер, раздобыли почти антикварный, местами заплесневевший шкаф, и зажили припеваючи.

Евдокимов был родом из Башкирии. Также после окончания института и тоже с красным дипломом был призван в армию на два года. В Уфе осталась жена и трехлетняя дочь. Он страшно скучал по ним, злился на весь свет, что разлучен с семьей, и чуть ли не каждый день писал письма домой. Родители его умерли, оставив символическое наследство, от которого пришлось благородно отказаться в пользу старшей сестры, инвалида детства, страдавшей ДЦП и жившей на попечении тетки. Некоторый налет провинциальности чувствовался в нем, но только потому, что он постоянно старался его скрыть, сам того не замечая. Его выдавала присущая всем провинциалам приверженность к классицизму и готовность всюду проявлять свою эрудицию. Вообще же, он был интеллигентен и добродушен, что вполне увязывалось с его внешностью – толстоват, беспомощно близорук. Без очков, прятавших мягкий взгляд глубоко посаженных, серых глаз, крупное лицо с обиженно отвисшей нижней губой приобретало черты детского. Военная форма совершенно не украшала его. Даже не глядя на малиновые петлицы с медицинской эмблемой, можно было безошибочно определить – раз этот человек оказался в армии, то он может быть в ней только врачом, настолько нелепо сидели на нем, и шинель, и фуражка, и связанный женой серый, толстый, «не уставной» шарф. Его будущей специальностью должна была стать патанатомия, и он даже устроился внештатным судебным экспертом при гарнизонной прокуратуре и как-то раз его вызывали в Гаджиево произвести вскрытие, но все это было очень далеко от настоящей работы, к которой они готовили себя в институте. Именно это угнетало их больше всего, и как они не старались сделать эту тему запретной, она постоянно сопровождала их бытие...

## 5

– Отвлекись на секунду, – попросил Евдокимов внимания, продолжая жевать бутерброд. Закончив вечерний прием, они сидели у себя в комнате и, потягивая чай, читали каждый свое.

– «Если бы мог человек найти состояние, в котором будучи праздным, чувствовал бы себя полезным и исполняющим свой долг, он нашел бы одну сторону первобытного блаженства. И таким состоянием обязательной и безупречной праздности пользуется целое сословие – сословие военное. В этой -то обязательной и безупречной праздности состояла и будет состоять главная привлекательность военной службы». Каково?

– Полегче, у меня отец кадровый военный.

– Знаю. Да я о нынешних говорю, не воевавших. И даже не я – Толстой.

– Сам в прошлом артиллерист. Кстати, в «Севастопольских рассказах» он ничего не говорил о праздности... Не тужи, все великие служили, теперь твоя очередь.

Евдокимов равнодушно зевнул и, сняв очки, помассировал крепкую переносицу, где почти срослись щетинистые брови.

– Твою лояльность к армии ничем не прошибешь. Даже этим, – выразительно покачал он увесистым томом «Войны и мира».

– Ну, продолжай, продолжай. Скажи еще, что в военные училища идут одни недоумки. «Как одену портупею, все тупею и тупею». Проведи параллель с «Поединком»...

– И стараться не надо, параллель напрашивается сама собой. Совпадение полное. Действующие лица те же, что и у Куприна, только исполнители другие: капитан Иванов, старший лейтенант Карпунец, лейтенант Толпыга... Кстати, что решил офицерский суд чести? – нарочито возвышенно спросил Евдокимов.

– Будут увольнять.

Лейтенант Толпыга слыл исчадием ада Североморстроя. Щуплый, миниатюрный блондин – абсолютное воплощение понятия разгильдяйства, поставил перед собой цель увольнения из армии, выбрав для этого простой путь забубенного пьянства. Если кто-то, помышляя о карьере, скрывал этот порок, то Толпыга всячески его афишировал. Клал он на все. Недавно он побился об заклад, что в течение дня смотается в Ленинград, пообедает в ресторане и вернется к вечерней проверке. Пари выиграл, предъявив авиабилеты и счет из Астории.

– Увольнять.. Ну, да – чтоб не позорил армию. Раньше, между прочим, такими гордились, Пушкин их воспевал... Это же характер Сильвио! Таким место в гвардии, а не в стройбате.

– Стройбат это тоже часть армии. И о персонажах... Персонажи-то в 7.30 уже на разводе, а мы с тобой в это время еще почиваем. Это я об упомянутой тобой праздности, матери пороков.

– По трудовой деятельности заскучал? Потерпи, скоро погрязнешь в делах. Надо будет составлять отчет о травматизме, об инфекционной заболеваемости, провести флюорографическое обследование личного состава... – загнусавил Евдокимов. – Запасы хлорки пополнить, а там и годовой отчет подоспеет, и время заказ-наряд оформлять...

– Не триви душу.

Ему не хотелось продолжать этот разговор, в котором оба могли поменяться местами.

– Знаешь, что на мой взгляд самое скверное в армейской службе? Не дисциплина, не необходимость подчиняться любым, даже самым идиотским, приказам и уж конечно не праздность... Самое скверное в армии – это отсутствие в ней красоты, армия эстетически не развита. Романтика есть, а красоты нет!

Евдокимов задумался. – А мундиры, разве они не красивы? Карпунец в парадной шинели... это же загляденье.

– Я не о форме, о содержании. Впрочем, это относится и ко всему нашему обществу в целом, ко всей нашей жизни, а в армии это просто виднее, заметнее.

– Не буду спорить, – Евдокимов вздохнул и горестно повторил давно переиначенные им известные строки: «Если тебе не повезло и ты в молодости жил в Полярном, то, где бы ты ни был потом, он навсегда останется с тобой, потому что Полярный – это дерьмо, которое всегда с тобой».

Евдокимов в своем репертуаре – он всегда вспоминал что-нибудь из литературных произведений, говоря о Полярном... «Посреди города Миргорода была большая лужа...», действительно – им всегда приходилось огибать маленькое грязное озерцо перед старой школой, когда шли на почту или в библиотеку... но самым любимым было: «Тьма окутала ненавидимый прокуратором город...»

– Не зарекайся, может, под старость ты будешь вспоминать эти годы, как лучшие в своей жизни. И потом – уж чья бы корова мычала... Сам-то откуда приехал? Ну, ладно я – коренной петербуржец, имею право рожу кривить, а этот явился из своей Тмутаракани и туда же – Полярный, видите ли, ему не по нраву.

– Ну, спасибо, за Тмутаракань особенно. – Евдокимов ничуть не обиделся. Наоборот, его почему-то развеселило, что его родную Уфу назвали Тмутараканью. – Слушай, ты ведь утром кого-то оперировал? И молчишь, это же событие в нашей скромной практике!

– Флегмону тыла кисти вскрыл. Не бог весть какая операция.

– А чего в госпиталь не направил?

– Ну, я какой-никакой, а хирург все-таки. Если ничего не делать, совсем деградируешь. Вообще-то, истинная флегмона тыла кисти довольно редкая вещь. Обычно – это осложнение других флегмон кисти, комиссуральных, например, когда гнойник распространяется с ладони на тыл. Поэтому и вскрывать их надо с ладонной поверхности. Но здесь другой случай. Парень оцарапал руку с неделю назад, рана нагноилась и привела к флегмоне, и разрез пришлось делать на тыле, где царапина была. Большой поперечный разрез, много гноя вышло.

– А обезболивание как делал?

– Под хлорэтилом. Там же кожа тонкая, отлично заморозилась. Кстати, напомнил, пойду проведу пациента...

Он не стал включать свет в лазарете, чтоб никого не будить. В темноте прошел к нужной койке, и присел у изголовья на табуретку, увидел, что солдат не спит.

– Как дела, Кошкарбаев?

– Нормально, товарищ старший лейтенант, – солдат ответил тоже шепотом, – уже не болит почти. – И для убедительности покачал в воздухе рукой в гипсовой лонгете.

– Чего раньше не приходил? До такой флегмоны дело довел.

– Старшина не пускал. Думал, что сачкануть хочу.

– У вас кто старшина? Прапорщик Крылов? Уж он-то должен знать, что казахи не сачкуют? Темнишь что-то, Кошкарбаев, наговариваешь на старшину? Небось, сам боялся идти?

– Не-е-ет, – даже в темноте было видно, как расплылось в широкой улыбке лукавое азиатское лицо.

– Ладно, спи. Руку под одеяло не убирай, пусть гипс подсыхает.

Казахи действительно практически никогда не симулировали. Как и прибалты, впрочем. Вот кавказцы – те другое дело.

Вернувшись к себе, застал Евдокимова уже лежавшим на тахте и читавшим при свете торшера. Да, у Евдокимова была тахта, а у него обычная солдатская койка на пружинах. Бес-серебренник, твою мать... Он улегся и вперила глаза в потолок. Просто вперила глаза в потолок...

6.

... – «Вы тоже уезжаете?» – спросил проводник, стоя на подножке тамбура. Поезд вот-вот должен был тронуться. – «Нет, – отец улыбнулся. – Мы свое уже отъездили. Провожаю». Медленно и бесшумно пополз перрон. Как там у Набокова? «... потянется платформа, увозя в неведомый путь окурки, билетки, пятна солнца, плевки, не вращая вовсе колесами, проплывет железная тачка...» Братьев Люмьер прославило «Прибытие поезда». Отправление поезда в начале «Король, дама, валет» не менее гениально...

Попутчиками оказались два рыбака, лет под сорок, заводские работяги, выкroившие недельку для поездки на Онегу. Вместе выпили водки, перекинулись в карты. Говорили о футболе, о Завидонове, которого один из рыбаков знал со школьной скамьи, о зарплате, о бабах – гадостей не смаковали, но и специально себя не сдерживали. «Летят осенью листья с ясеня...» – под стук колес приговаривал тот, что был попроще и поживее, азартно стегая маленький купейный столик козырями, и далее следовало рифмованное продолжение: «Ни х... себе, ни х... себе». Еще у него в запасе было: «А я уже и подмылась». Второй – инвалид с ампутированной ногой, худосочный и мрачноватый, казался старше своего приятеля, и не пьянел так быстро. По некоторой мимической реакции его лица можно было понять, что он признавал свое умственное и волевое превосходство над приятелем, но мирился с его обществом. Увечье уравнило их. Его вероятно одиночеству нужен был почитатель, а почитатель легко совмещает в себе заботливую няньку. По-видимому, именно такие отношения связывали их.

Сошли они в Медвежьегорске, поделив между собой имущество – одному достались рюкзаки и зачехленные спининги, другому костыли.

Потом за окнами потянулась тундра. Заходящее солнце вязло в ее цветастых, ягельных болотах, проклиная все на свете. Утром долго томились на каком-то узле, пропуская воинский эшелон с танками на открытых платформах. Эшелон перегоняли с юга – солдаты были загорелыми, а краска на броне выгоревшей.

В Мурманске он побрился в привокзальной парикмахерской, десять минут наслаждаясь тем, что обычную работу за него умело выполняет кто-то другой. Времени осматривать город не было, и, взяв с кем-то вскладчину такси, сразу поехал в Североморск. На заставе предъявил предписание из военкомата, служившее для него пропуском в закрытый город.

Поселившись в новом корпусе гостиницы «Ваенга», встретил там своих однокурсников, призванных также как и он «двухгодичниками». Их было не больше десяти со всего курса, некоторые жили здесь уже несколько дней. В ожидании приказа о назначении неприкаянно слонялись по осенним улицам в своих поношенных, которых было не жалко, вышедших из моды, одеждах. Деньги большей частью были уже пропиты, и всем хотелось поскорее убраться отсюда к местам предстоящей службы. В отделе кадров штаба флота каждому был предложен выбор – два или три года. Ему предложили Лиепая, где стоял на ремонте в доке, предписанный к КСФ, большой противолодочный корабль. Врачом в экипаж. Вообще, можно сказать, дома, Балтика. Но это три года. И он отказался, предпочтя два года в стройбате, в Полярном. Болван... Сейчас не было бы проблем видеться с ней... Ну, кто ж знал. С распределением ему никогда не везло. Он помнил, как вошел в просторную приемную ректора, где заседала комиссия, как из-за стола с трудом поднялся зав.кафедрой факультетской хирургии, тщедушный, старчески хрупкий человек с некрасивым, блеклым, лицом в очках – профессор с мировым именем, определивший развитие хирургии ишемической болезни сердца на десятки лет, и, заглянув в бумажку, назвал его фамилию, ходатайствуя о зачислении в клиническую ординатуру к себе на кафедру. «Да, но ведь клиника не резиновая. Мы итак уже направили к вам троих» – вежливо возразил ректор, перед которым тоже лежала бумажка со своим списком, при этом ректор дружелюбным взглядом искал сочувственного понимания такой справедливости именно у того, о ком шла речь... В результате он оказался распределен в поликлинику, с предварительным прохождением интернатуры по хирургии в одной из городских больниц...

Единственным из них, кто согласился на три года, был Валера Малыченко, получивший назначение в Ура-Губу. Гришу отправили на Кильдин, Жору Дваладзе в Росту, Борю Бабушкина, Кажетя в Гремиху, Кауфмана, который получил предписание на день позже, тоже в Полярный.

Вечером отметили это дело в ресторане «Ваенги». Боря не пил, у него на водку аллергия, что-то типа отека Квинке. А на следующее утро... От гостиницы до пирса метров пятьсот. Чемодан, плотно набитый в Ленинграде медицинскими справочниками и монографиями, превратил шедшую под уклон улицу в *via dolorosa*. На катере он все пытался представить себе место, куда плывет, но, сойдя на берег, лишний раз убедился, что ему не дано сколько-нибудь похоже вообразить то, чего раньше не видел. Его, с чемоданом, высадили и оставили в пустыне, только вместо песка перед глазами простирались пестрые гранитные сопки, от которых веяло пугающим безразличием и тоской. Никогда прежде он не сталкивался с такой кричащей тоской, она сразу овладела им и подавила, казалось, она перечеркивала всю его прежнюю жизнь. Если бы это было просто географическое открытие новых для него мест, он бы так не затосковал, но это было и первым зрительным ощущением двух долгих лет предстоящей жизни, о которой он пока ничего не знал, но уже тогда понял о ней самое главное, полностью.

Останься пейзаж девственно нетронутым, в нем, наверное, можно было бы разглядеть и свою красоту, тревожную и суровую, но все портили плоды человеческой деятельности – унылые, почерневшие, покосившиеся от времени, дощатые постройки, и все кое-как, неумело,

убого. И ни одного дерева, даже карликового... Вместе со всеми он сел в подошедший рейсовый автобусик с сильным запахом бензина в салоне. Никто из расспрашиваемых не знал, где находится его часть, наконец, кто-то, кивнув на сопку, что высилась слева, сказал: «Строители? По-моему, – там». На третьей остановке он сошел. Здесь уже было, что-то похожее на городской микрорайон. Вдоль шоссе стояло несколько устаревших, невыразительных пятиэтажек, тротуаров не было. Повернув назад, он дошел до поворота, где за забором стоял деревянный одноэтажный дом с трактирной вывеской: «Гостиница». Толкнув первую попавшуюся дверь в коридоре, оказался в просторной комнате, вплотную заставленную армейскими койками, на которых в самых непринужденных позах валялись постояльцы – все младшие офицеры в синих корабельных кителях, большей частью с лейтенантскими погонами. Похоже, здесь что-то отмечали; единственный, без скатерти, квадратный стол у окна, был утыкан бутылками и стаканами. Только отсутствие женщин не позволяло провести сравнение прокуренного гостиничного номера с притоном. Он попросил разрешения оставить здесь на пару часов свой чемодан, собственно для этого он и зашел сюда. «С водкой? Конечно, оставляй» – воскликнул кто-то. Кудрявый, румяный лейтенант с изумительно русской физиономией, в кителе нараспашку, привстав с ближней койки недоуменно пожал плечами и молча кивнул в знак согласия. «Эти точно флот не опозорят» – оценил он увиденное, закрывая за собой дверь.

Налегке, он резво преодолел подъем на сопку по накатанной грузовиками, расхлябанной колее и остановился перед воротами с плакатом: «А ты выполнил дневное задание на производстве?» – вопрошал боец в пилотке, гневно тыча в него пальцем. На КПП документов не спросили.

Штаб в\ч 36... , до которого, как до Киева, в конце концов довел язык, казалось, парил в воздухе, упираясь торцом в неоглядную даль серых, камуфляжно – пятнистых сопков. Он представился тогдашнему своему командиру, майору Пасечнику, кряжистому мужику лет сорока пяти, с корявым, сильно загорелым и как бы заспанным лицом. Вместе с Пасечником в кабинете находился замполит части, майор Рудек – полноватый, лысый человек, имевший манеру во время беседы время от времени поплевывать себе на кончики пальцев, сложенных в горстку. Оба радушно приняли его, расспросили о семейном положении, высказав искренне сожаление, что с жильем в гарнизоне из рук вон плохо – кадровым офицерам, подводникам жить негде... так что пока придется поселиться в санчасти, а потом они постараются добыть для него комнату в общежитии. При этом, Пасечник, у которого на глазах мысли шевелились все тяжелее и тяжелее, выглядел даже несколько виноватым. Рудек же, напротив, стараясь всячески ободрить нового сослуживца, с нарастающим воодушевлением рисовал оптимистические перспективы ближайшего будущего. Одет он был почему-то в полевую гимнастерку, наверное, добирал недостающего аскетизма в образ политработника. Вызвали фельдшера, без пяти минут дембеля, поручив тому дальнейшие заботы по благоустройству вновь прибывшего врача части. Манова, который тогда был еще санинструктором, отправили доставить чемодан доктора...

Беглый осмотр санчасти произвел гнетущее впечатление, хотя он и не надеялся, что будет по-другому. Было бы глупо ожидать, что здесь он найдет одетую в кафель операционную, бестеневую лампу, автоклав, биксы, стерильные наборы инструментов... Единственный белый халат предназначался только для врача. Пижам для больных тоже не было, солдаты в лазарете лежали в своей форме. Желания в первый же день с рвением приступить к выполнению своих обязанностей у него не возникло, и чтоб до конца определить для себя мир своего заточения, он поспешил отправиться на знакомство с городом. Оказалось, что автобус останавливается у подножья сопки, не зная этого, он утром проехал дальше, когда разыскивал свою часть. Два автобусных маршрута 17 и 17а отличались только конечными остановками, один шел до дворца культуры, другой до «циркульного» магазина, прозванного так за полукруглый, желтый фасад с белыми колоннами, обращенный к «подплаву» – к бухте, закрытой с трех сторон скалами, где у причала базировалась эскадра дизельных подводных лодок. Ювелирный отдел этого , в

остальном ничем не примечательного промтоварного магазина, превосходил столичные универмаги по богатству и ассортименту бриллиантовых украшений, выставленных на продажу – очевидный расчет на большие зарплаты здешних подводников. Но это он узнал позже, когда в поисках какой-то галантерейной мелочи заглянул в «циркульный, а в тот день автобус довез его до огромного пустыря, по периметру которого были воздвигнуты: гостиница типа североморской «Ваенги», но похуже; судоремонтный завод – СРЗ и вполне современный дворец культуры из стекла и бетона «Полярник». Стоя на его ступеньках, он смотрел, как холодный солнечный свет обволакивает залив, как рыжеют на этом свете мшистые сопки с разбросанными по склонам зданиями разных периодов освоения Полярного, в том числе и современные многоэтажки, и конечно это была уже более отрадная картина, и все-таки... все-таки... «Берег мой, покажись вдали – раздавалось из репродуктора. – Краешком, тонкой линией...». Как кстати... «Ты унеси меня отсюда, отсюда к родному дому...» В который раз он отметил для себя, что кто-то свыше, словно зная о его душевном состоянии в данный момент, посылает ему знак о своем соучастии.

Проходившая мимо девушка, с которой он с отчаяния попытался познакомиться, оказалась женой такого же, как он, двухгодичника и тоже из Ленинграда, с пониманием отнеслась к его настроению, и, уделив ему пять минут, побежала дальше по своим делам. Обратившись в часть он добирался пешком. Дойдя до района «циркульного и устав от долгого перехода по сопкам, присел отдохнуть на скамейку возле четырехэтажного жилого дома. Поблизости был виден, стоявший особняком Дом быта и невысокий обелиск в окружении тонкоствольных березок высотой в человеческий рост. Эти деревца были первыми, увиденными им в городе, и, как выяснится позже, единственными. Казалось, что они уцелели после какой-то глобальной катастрофы, погубившей все живое вокруг, заплатив за свое существование неизбежной мутацией. Желтая, мозаично мелкая листва была ярко освещена солнцем на фоне очень чистого, голубого неба. Золотая осень, фрагмент... Обрадованный видом этих чахлах березок, произраставших посреди каменной плещи, он подумал, что красота осени, как красота огня, может сохраняться и в предельно малых формах, чего нельзя сказать о небе или о море. Пока он таким образом размышлял на отвлеченные темы, из соседнего подъезда выскочила овчарка и, как вкопанная, замерла возле мусорного бачка, разглядывая что-то на земле. Объектом ее внимания оказалась жирная крыса, которая не испугалась, не обратилась в бегство, а наоборот повела себя вызывающе агрессивно – атакуя, несколько раз подпрыгнула вплотную к морде собаки, издавая омерзительный злобный писк...

Поздно вечером, закончив свой первый прием больных, он вышел из барака покурить и впервые увидел северное сияние – тусклое, зеленоватое свечение, едва заметное на почерневших небесах. «Куда занесло, да, товарищ лейтенант?» – подхалимски посочувствовал Манов, появившийся на крыльце. В этот момент прибежал посыльный – врача вызывали в третью роту... В канцелярии роты у стены, как перед расстрелом, стояли два раздетых догола солдата, по виду из «молодых», покаянно держа в руках скомканные охапки своего исподнего. Перед ними, скрипя «хромачами», гневно расхаживал дежурный по части старший лейтенант Стрекозов. «Во, доктор, глянь на этих обормотов. Чего это по ним там ползает? Вши?». Да, это были платяные вши, и он видел их, как и северное сияние, первый раз в жизни, но не это потрясло его, а искаженное негодованием, лоснящееся лицо пузатого старлея, сыпавшего матерные угрозы в адрес забитых «салаг». «Я вам, б..., устрою баню, чурки гребаные! Яйца в керосине будете поласкать три раза в день, правильно, доктор?», и тогда он понял, что врач в штате военно-строительного отряда действительно необходим, юридически необходим...

До него врача не было три года. Первое флюорографическое обследование, которое они провели в октябре, выявило шесть случаев туберкулеза. Кавернозного! Из этих шести четверо призывались в армию после заключения. Здесь, на севере, бывшие зэки составляли до сорока процентов личного состава военно-строительных отрядов. Зэки говорили: «На зоне

легче. Здесь каторга». Попадались отпетые. Когда, по приезду, осматривая санчасть, заглянул в лазарет, увидел, сидящего по-турецки на койке накаченного битюга, от вида которого даже у него, защищенного офицерским званием, мороз пробежал по коже. В лазарете тот дождался отправки в психиатрическое отделение окружного военного госпиталя в Мурманске. Отвязанных старались комиссовать по медицинским показаниям через дурдом. Военная прокуратура дела заводила неохотно. «Вы должны их воспитывать», и у командиров это была единственная возможность избавиться от таких, с помощью психиатрии. В общем, всех это устраивало. Впрочем, в тот год пришлось столкнуться и с настоящей паранойей, и с депрессивным психозом. Рядовой Зейналов, азербайджанец, через два месяца службы ушел в себя, полный аутизм, отказ от приема пищи... В роте пару раз избили, считая, что «азер» просто косит. Кто знает? Может, и так. Придурак, обратившийся в его первый прием, с парафимозом, причиной которого стала попытка вживить в крайнюю плоть стеклянный шарик, чтоб доставлять максимальное удовлетворение женщине, в счет не идет. Это не психопатия – это норма. Интересно, где он намеревался раздобыть себе партнершу, хотя, наверное, не такая уж большая проблема тут, а, может, к ДМБ готовился, к гражданке.

Стук в дверь прервал его воспоминания и Евдокимовское чтение....

7.

– Можно? – на пороге возник начальник штаба части, где служил Евдокимов – майор Котец. Грузный, одышливый, с вьющейся шевелюрой седых волос, он напоминал Верещагина из «Белого солнца пустыни», но к сожалению только внешне. Пришлось встать, приветствовать начальство.

– А вы неплохо обжились... – Котец обстоятельно осмотрел комнату. – Очень уютно. Жить можно. Сразу видать, что надолго обосновались... лет на двадцать пять, не меньше, да, Женя? – ернически подмигнул Евдокимову, снимая плащ-накидку – Так и не надумал остаться? Непримирымый ты мужик... А я чего потревожил – опять язва на ноге открылась. Третий год с ней маюсь... Перевяжи, будь добр. – Котец, как всегда, избыточно вежлив. К солдатам обращается, по-отечески, – «сынок». Любит посылки у солдат проверять, с домашними гостинцами...

– Вам прооперироваться надо. Вены удалить. А так без конца открываться будет.

– Ну-ну, не пугай. До пенсии -то дотяну с ней, а там посмотрю.

Котец подсел к столу, водрузил большую конечность на подставленный табурет и засучил штанину форменных брюк, обнажая несвежую повязку на пухлой голени. Евдокимов тем временем вышел за мазью.

– Мне и раньше операцию предлагали. Боязно как то... – любопытный взгляд, продолжающий шарить по комнате, задерживается над тахтой, где на стене были наклеены репродукции из «Огонька».

– Так и живете бобылями. Чего женок с собой не привезли? Все полегче было бы...

– Отдохнуть хотим от них. Куда везти, в казарму?

– Хм... Для кого вы их там бережете... – Котец мощно навалился грудью на край стола, чтоб придвинуться к собеседнику и перейти на шепот. – Слушай, а Евдокимов он что – татарин?

– С чего вы взяли?

– Да картинки вон... все с узкоглазыми.

«Ну нет, не рассказывать же майору о Гогене, тот не стал бы слушать даже из вежливости. «Доброе утро, месье Гоген» ...Добрый вечер, месье Котец. Прикид у Гогена там хороший, осо-

бенно синее кепи. На всех автопортретах он жгучий брюнет, с чего поэт назвал его «огненно-рыжим»? С Ван-Гогом перепутал, наверное... Таитянский период... Это покруче, чем метеорологом. А, может, нам просто не достает здесь женщин? Смуглых аборигенок, эскимосок, синилыг с абсолютно черными волосами и снежной кожей? Все остальное имеется, как у Гогена на островах – алкоголь, океан, халупа и полное отсутствие цивилизации. «Мужчина, срывающий плод». Было время, когда он ходил в Эрмитаж только ради этой картины. Необыкновенно мягкий, лимонный цвет. Кто-то в сизой майке, привстав на цыпочки, тянется к ветви, фигура неотчетлива, расплывчата, мужчина хрупок и сосредоточен, ждут козы, все замерло, плод теплит руку... Движение зафиксировано в конечной, высшей точке – с одинаковым успехом можно предположить, что он не срывает, а кладет плод на ветку».

– Это не татарские, другие.

Котец осторожно потрогал язву, что-то там испытывая.

– Не мое, конечно, дело, но вот этого – ткнул освободившимся пальцем туда, где высвечивались обнаженные таитянки, – не одобряю. Ну, что вы – солдатня, картинки расклеивать?

Вернувшийся с баночкой бальзама Евдокимов сообщил, что для него тоже есть пациент...

В смотровой Манов распекал кого-то: «Позже не мог заявиться? Порядка не знаешь? Первый год замужем?».

– Да мы только с работы пришли. Я и не рубал еще, сразу сюда. – оправдывался невысокий солдат в черном, замызганном спецаке; рыхлое, заляпанное брызгами известки лицо – пылает.

Порывшись в картотеке, в ячейке на букву «К», Манов извлек медицинскую книжку. – Кулешов, третья рота.

– Знакомая фамилия, – пролистал книжку. – Погоди, погоди... Я же тебя перед отпуском в госпиталь направлял, – перевернул страницу. – Слушай, ты же комиссован по ревматизму месяц назад! Вот штамп ВКК... Да какой месяц – полтора! Ничего не понимаю. Почему ты еще здесь?

– Аккорд у нас был, товарищ старший лейтенант, на «Нерпе». Командир роты попросил задержаться, а я себя нормально чувствовал после госпиталя, да и заработать хотелось перед домом.

– Считаю, что заработал, вместе со своим командиром! – он был взбешен. – Что сейчас болит?

– Опять коленка. – тихо повинулся солдат.

– Показывай.

Солдат, как стоял, спихнул грязный сапог с больной ноги и завернул штанину. Ну, конечно, – красный, опухший сустав!

– Мерь температуру, – со злостью бросил он фельдшеру...

В пустом коридоре штаба, как помоями пахло только что вымытыми полами. Рабочий день завершался. Бабаджанян был в кабинете один и собирался уходить – стоя в шинели прибирал бумаги на своем столе.

– А, доктор... Заходи. ...

...Он сменил Пасечника, которому предложили подать в отставку, видя, что тот «не тянет». Не имея специального строительного образования, майор Пасечник к тому же был уже в возрасте – сорок семь лет. Он не был ни хорошим организатором, ни грамотным специалистом, ни истовым служакой, но зато был силен и упрям, и, находясь на заманчивой для многих должности командира строибата, не воровал и умел другим втолковывать значение слов «надо». Когда на собраниях звучало его: «А то некоторые нашли себе здесь хорошую госу-

дарственную кормушку...», то это не воспринималось, как расхожая демагогия, хотя говорил он казенными фразами и запинаясь не от избытка эмоций. Наверное, прежде, чем подписать приказ, наверху долго размышляли – а стоит ли менять такую безотказную ломовую лошадь? Он не пошел на «отвальную» – прямого приглашения не было, а сам он посчитал для себя неудобным участвовать в проводах командира, с которым прослужил всего ничего. Но Пасечник обиделся. Узнал об этом месяц спустя, когда ему случилось подвезти уже демобилизованного Пасечника на санитарной госпитальной машине, возвращаясь с вызова. Была уже ночь. Пасечник, одетый в тесный штатский, нейлоновый плащ, в армейских «хромачах», руки в карманах, в угрюмом подпитии брел откуда-то из гостей, один на пустой дороге, как призрак, как летучий голландец, как некий итог своей завершенной службы. – Чего ж ты не пришел меня проводить? – уже вылезая из «уазика» возле своего дома, недовольно спросил Пасечник, дышнув в лицо спиртным перегаром. – А я завтра уезжаю. Домой. Ну, будь... – и пьяным, мутным взглядом тяжело посмотрел на него, словно напоследок хотел разобраться, что же все-таки за человек этот доктор, его бывший сослуживец?

Новый командир в чине подполковника был прислан из Североморска, где последнее время заведовал животноводческим хозяйством для нужд флота. Поговаривали, что ссылка на ферму была наказанием за рукоприкладство – не удержался, ударил подчиненного, матроса. Бабаджанян носил морскую форму и, кажется, тоже был из породы упрямых, на собственной шкуре испытавший, по чем фунт здешнего строевого лиха. С собою привез отца, дряхлого, глухого старика, к которому как-то раз пришлось подъехать на квартиру, вымывать серные пробки из ушей шприцом Жанэ.

– Тимошенко, он что – спятил? А вы куда глядели? Вы уже две недели как из отпуска. У вас учет ведется какой-нибудь?

– Мне и в голову не могло прийти, что такое возможно.

– Т-а-ак, что собираетесь предпринять в связи с этим?

– Вынужден снова направить его в госпиталь.

– Исключено, – не раздумывая, решительно возразил Бабаджанян, помотав лысой головой, где только по вискам сохранилась жесткая, черная щетина, тронутая сединой. Пожалуй, он был даже элегантен в черной, распахнутой шинели с белым шелковым кашне, свободно ниспадавшим с шеи. Высокий, стройный, уже немолодой мужчина, с умным, опытным лицом.

– Я понимаю – это ЧП, неприятность, но другого выхода нет.

– Доктор, это не просто ЧП, а ЧП девятое за квартал! Об нас и так на каждом совещании вытирают ноги. Завтра, первым катером, отвезешь в Мурманск, посадишь на самолет, и пусть летит, куда хочет.

– Нельзя. Парень серьезно болен и нуждается в срочной госпитализации.

– Ничего с ним не сделается. Пьянствовать в роте здоровье было.

– У него сейчас атака, ревматическая атака. Если сразу не начать лечение – сто процентов разовьется порок сердца. Это значит – инвалид в двадцать лет!

– Не думаю, что один день что-то решает. Завтра самолетом домой! Можешь считать это приказом.

– Бачо Николаевич, такой приказ я исполнить не могу. Прошу понять меня правильно...

– Не забываетесь! – из-под бронзового лба катапультировались черные зрачки. – За неисполнение будете отвечать. Вы устав изучали? В армии за жизнь и здоровье подчиненных в первую очередь несет ответственность командир, окончательное решение за ним.

– Вы не специалист, вы не можете знать последствий. Кроме того, фактически он уже не ваш подчиненный, он комиссован из армии.

– А формально мой. Приказа-то на него еще нет. – Бабаджанян оскалил ровный ряд белых зубов, как если бы собрался разгрызть яблоко. – В любом случае припишут дефект

работы командира. Я не желаю огласки! И довольно об этом. Завтра в дорогу. Свободны, товарищ старший лейтенант медицинской службы.

Он испугался. Собственно, он боялся в течение всего разговора с командиром. Неизвестно, чем могло ему грозить прямое непослушание... Отправлять в мусорную корзину дурацкие приказы медицинского начальства флота – это одно, а нажать врага в лице своего непосредственного начальника – совсем другое. Но сомнений, как ему надлежит поступить, не было. Уступи он сейчас, он перестал бы считать себя врачом.

Сержант, дежуривший у коммутатора, соединил его с приемным покоем гарнизонного госпиталя, и он вызвал «скорую» на активную фазу ревматизма. Ставить в известность Бабаджаняна о своем неповиновении не пришлось – тот все слышал, когда вышел из кабинета и возился с ключами, запирая дверь. На удивление, Бабаджанян никак не прореагировал на то, что доктор ослушался его, не возмутился, а только укоризненно покачал головой, словно говоря: «Все-таки подставил меня. Не пожалел».

Когда он вернулся в санчасть, Евдокимов был уже один.

– Котец ушел?

– Только что. Интересовался – не еврей ли ты?

– А почему он пришел к такому умозаключению?

Евдокимов кивнул на койку, где валялись «Блуждающие звезды».

– Полагаешь, ему известна национальность автора?

– Он полистал предисловие.

– Все зло от книг...

Они попили чаю. Пришла машина из госпиталя, забравшая Кулешова. Потом легли и еще некоторое время читали. Евдокимов включил приемник и, порыскав по диапазонам, остановился на волне, где Азнавур пел песню: «Я не могу вернуться домой». Безо всякого сожаления шансонье повествовал об этом вовсе невеселом обстоятельстве. Наверное, не могу вернуться из-за того, что засиделся в кафе на Монмартре, не могу вернуться сейчас, просплюсь и доберусь завтра утром, когда начнут ходить трамваи, и не надо ждать ДМБ. Или в Париже нет трамваев?

Погасив свет, оба курили, уставившись в потолок, занятые своими мыслями. Он почти наверняка знал – о ком думает сейчас образцово-показательный семьянин Евдокимов – как всегда о жене, о дочке Юльке, а вот если бы Евдокимов попытался угадать его мысли, то потерпел бы фиаско, потому что он думал о ней, а о ней никто не знал... Но он не смог долго думать о ней, ему помешали – французского певца сменил, давно не появлявшийся в эфире, голос...

## 8.

«Johnny!» – Это, как глоток бренди. Мужское легкое головокружение. Мужское счастье на секунду. «Wenn du Geburstag hast...». Мужчина легко откликается на печаль женщины, которую не видит, которая поет на чужом языке. Немецкий – это и язык классического кабаре, помимо прочего. Немки знают о мужчинах все, и внешне демонстрируя покорность, всегда сильнее их. Но сегодня день рождения у нее – шестнадцать лет.

Он первый раз в ее доме, и на нем первый взрослый костюм в его жизни. В прихожей ткнул ей в руки подарок – черную, плюшевую кошку, шепнув на ухо: «Это, чтоб ты никогда замуж не вышла». Не сбылось, она побывала замужем за ним. Потом он каждый год дарил ей черных кошек: тряпичных, глиняных, соломенных, с дико вытаращенными глазами и вздыбленными спинами. Соломенной вдовой она тоже побывала...

Из школьных друзей приглашен он один, его знакомят с блестящим молодым человеком, сыном друзей ее родителей, который сразу вызывает тотальную ревность, больше, чем просто к сопернику. Анатолий – учится в институте военных переводчиков, в нем все отточено – спор-

тивная фигура, шутки, английский, он снисходительно ироничен и профессионально танцует твист. Угощает тебя американскими сигаретами, не проявляя к твоей персоне ни малейшего интереса. На проигрывателе крутится диск, собственноручно привезенный Анатолием из Лондона, и когда он заканчивается, ставят первое попавшееся из домашней коллекции... «Johnny! Wenn du Geburstag hast...».

Недоступный, покоряющий голос. Он мгновенно отделяет от реальности, вытаскивает, уводит тебя от стойки, где ты напиваешься из-за нее же. Ты танцуешь с Марлен Дитрих, она пригласила тебя на белый танец, выбрала тебя одного, потому что ты самый грустный в этом шалмане, все изведавший и скучающий гангстер без будущего. Ей не интересен Анатолий, ей интересен ты – промолчавший весь вечер юноша, для которого каждый удар сердца наслаждение. Ты не сможешь ровным, не дрогнувшим голосом ответить, спроси она тебя о чем-нибудь, но кроме тебя никто не прочтет в ее глазах все о ней.

«Joh-o-ny...» – А, может, это просто как хозяин подзывает собаку, и ничего иного за этим нет, и не стоит так волноваться. Но не ты над ним, а голос властен над тобой, и кровь всякий раз вновь обращается вспять от рефрена, к которому, казалось, уже должен был привыкнуть. ... «Wenn du Geburstag hast». Поделенное на такты прощение любимого от неодолимого желания всегда быть с ним. А ты? Ты не боишься меня потерять? Ты, правда, не боишься или делаешь вид? Да поздно... что теперь говорить об этом.

Как же ты возвышен этим голосом, который и понятия не имеет о твоём существовании, ни вообще, ни в этом кабинете ее отца, где сейчас танцуют под пластинку, где тебя одаривают Maalboro, а ты ничего не можешь предложить взамен; где ты осознал, что твой костюм вовсе не так хорош, как тебе казалось, пока ты не пришел сюда. Ты – парвеню, но может, именно этим ты ей интересен.

Та, с которой ты танцуешь, в действительности не боится тебя потерять, ей это и в голову не приходит. Пока ты еще мало значим для нее, тебе еще предстоит созреть, и она спокойно и свободно для себя будет ждать, когда это произойдет. Но и ее сейчас волнует ваша близость в танце, и для нее это тоже в первый раз, и хотя можно и смеяться и вспоминать что-то вчерашнее, пустое, школьное, но ей никуда не деться ни от своей руки, впервые покоящейся на твоём плече, ни от своих рассыпавшихся по плечам волос, которых он почти касается губами, вдыхая их ореховый запах...

Она была единственной, кто закончил школу с золотой медалью. Стоя в переполненном выпускниками коридоре, откуда поочередно выходили к столу, где директор вручал аттестаты, он видел, как она, получив награду, смущенно пригнулась в кратком реверансе, совсем как паинька-гимназистка, и ему стало жалко ее, потому что всем похоже было наплевать на ее золотую медаль, вроде бы никому и даром не нужную. Подружки, конечно, окружили ее, рассматривали медаль, но все равно это как-то быстро и суетно потонуло во всеобщем возбуждении, в ликовании торжествующего равенства. Он не мог к ней подойти – они были в ссоре.

«Я знала, что ты тряпка, но не до такой же степени!»... – прошло слишком мало времени, чтоб это забылось, но на выпускном балу он первым сделал шаг к примирению, пригласив ее на вальс. Она танцевала с ним, как с чужим, неинтересным ей человеком. В тот вечер около нее постоянно крутился высокий, широкоплечий парень, только в этом году появившийся в школе, по нему много девиц сохло – было в нем какое-то физиологическое превосходство над всеми. Конечно, он ревновал и совсем упал духом, когда под конец бала случайно заглянул в какой-то класс и увидел их там вдвоем. Фаворит стоял спиной к двери и не мог его видеть, а она сидела на подоконнике и, конечно, заметила его. Лицо у нее было загадочное и в то же время какое-то растерянное, скучное, Такое лицо бывает у женщины после того, как ей пришлось выслушать объяснение в любви от нелюбимого человека. Он не стал им мешать. Остаток вечера провел с незнакомкой из параллельного класса, и потом, когда все пошли гулять по городу, девица

все время была с ним, в накинутом на плечи его пиджаке. Они обнимались, целовались на скамейке на Петровской набережной у каменных маньчжурских шиз, и к рассвету оказались на стрелке Васильевского острова, усталые, опустошенные праздником и ненужной им обоим, случайной близостью, у которой не могло быть продолжения. Хотелось домой, спать. Транспорт еще не ходил. Стали ловить такси, и подружка уехала на какой-то попутке. Оставшись в одиночестве, пошел к Неве. До сведения мостов оставался час. Он постоял у вздетого на дыбы пролета Дворцового моста, который в таком виде – с запрокинутыми над головой фонарями, трамвайными рельсами, чугунной решеткой парапета, напоминал сломанную, механическую игрушку крестного Дроссельмайера, хитроумный механизм которой стало возможным рассмотреть и понять, как он действует. По гранитным ступеням спустился к воде, где прямо на плитах, скрестив по-турецки ноги, сидела компания, парень и три девушки в зеленых стрейт-отрядовских куртках. Парень играл на гитаре, и все негромко пели песню с незнакомым ему тогда текстом: «Если бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвал пистолет, так что сыпалось золото с кружев розоватых, брабантских манжет»... Слушая их, он завидовал их свободе, раскованности, тому, как по-свойски льнули к гитаристу благодарные, ласковые подружки. Вода плескалась совсем рядом с ними. Потом они долго не могли решить, что спеть дальше, спорили. поочередно прикладываясь к горлышку «фугаса»; наконец, девушка со светлыми, длинными волосами, растрепавшимися по вороту штормовки, лихо начала: «Ночь туманна, ночь морозна, это ха-ла-дааа. Вышла девка, на дорогу – все равно война!». Это было то, что нужно, все азартно подхватили: «Павстречала лейтенанта, говорит она-а-а... Я свободна! Я устала! Я теперь одна! Долго-долго целовались, ласкам нет канцааа. А потом па... забывались, все равно война! Муж приехал, видит – плохо, говорит жене... Я уйду, но ты, дуреха, вспомнишь обо мне» И ты вспомнишь... Но угрозу обесценил последний куплет. «Долго в памяти держала я его славаааа. А потом па.. забывала, все равно война!»

... После свадьбы он проснулся в комнате, где повсюду были цветы. Цветы стояли на письменном столе, в напольных вазах, изогнутыми стеблями свисали из хрустальных чаш, выставленных на черной, лакированной деке пианино, на подоконниках... Цветов было много, разных. В утреннем сероватом освещении, в тишине еще спящей квартиры, они уже не выглядели трафаретно-праздничными, как вчера; а казалось тоже были исполнены таинства пробуждения в новой жизни. У него была возможность это почувствовать. Он лежал в постели один, под утро Лена перебралась в другую комнату, чтоб безмятежно выспаться. Вымотанные вчерашней церемонией, они не прикоснулись друг к другу ночью, оправдывая для себя невероятной усталостью страх оказаться еще ближе, чем это было на протяжении стольких лет их знакомства. Он не сердился и не обиделся на нее за это, ему тоже так было легче, и это отступление от закона первой брачной ночи было для них обоих единственно возможным и естественным вариантом.

Ему не хотелось вставать первым в этой, еще чужой для него квартире ее родителей, и пока он лежал в ожидании, когда проснутся остальные, он вспомнил другую свою первую ночь с женщиной, ночь такую же «целомудренную» как эта, но совсем иную, в которую ему вдруг остро захотелось вернуться. Он вспомнил ее нестерпимо резко, неожиданно, как будто его против воли втокнули в горницу, где вовсю шла гулянка, где ему обрадовались и сразу налили штрафной стакан самогонки с мороза, где горланили под гармошку кто во что горазд. Это было на первом курсе...

... Электричка ходила только до Гатчины, а дальше надо было пересаживаться в старенький поезд, прозванный «скобарьком». Сейчас уже нет таких вагонов – с покатыми крышами, с оконными рамами на ремнях, с вечно заплеванными семечками полами, и спящими, развалившимися на всю длину лавки, пассажирами. Кончалась осень, сухая и холодная, и они ехали к Джону на дачу, поохотиться в захолустье. Время в пути коротали за картами и пригласили

в свою компанию сидевшую в одиночестве девушку, не разговорчивую и простенькую. Поезд шел медленно, подолгу стоя на безлюдных станциях, с тускло освещенными в непроглядной тьме позднего вечера, платформами. Кроме них в вагоне было еще человек пять или шесть. Курить выходили в тамбур, там же по-быстрому раздавили «маленькую». Джон еще раньше рассказывал о драках в поездах между веймарской и молосковицкой шпаной, враждовавшей между собой... И накаркал – в Молосковицах в вагон ввалилась пьяная ватага парней, которой верховодил коренастый, крепкий, как бык, солдат в расхристанной форме. Они зашли через тамбур из соседнего вагона, видимо, прочесывали весь поезд, без спешки, без суеты. Опасаться им было нечего – их много, все на взводе, милиция далеко и ей нет дела до застрявшего на пустой станции поезда. Ни один дурак сюда не сунется на помощь, даже если здесь будут убивать. Громко базаря какую-то матерную чушь, компания медленно продвигалась по проходу, оглядывая пассажиров. Поезд и не собирался трогаться с места. Джон бросил взгляд на зачехленное ружье – ничем оно не поможет, случись что, достать не успеешь, не то что собрать. Они продолжали играть, делая вид, что ничего особенного не происходит. Когда те приблизились и остановились возле них, кто-то из окружения главаря весело сказал: «Нет, это ребята питерские», и ободряюще подмигнул, дескать, не ссы, не тронем. Поравнявшись с сидевшим на соседней лавке худосочным парнем, в котором Джон признал своего деревенского знакомого, подвыпившая кодла обступила его, о чем-то спросила, и солдат размашисто ударил сидящего парня в лицо. Из разбитого носа хлынула кровь. Двое мелких паскудно ударили еще несколько раз, радостно повизгивая. Парень не сопротивлялся, только судорожно пытался закрыть лицо руками. Когда каратели убралась, Джон отнес пострадавшему носовой платок и отчитал парня за дурость – зачем было сознаваться, что он веймарский? «Ничего... мы их тоже отп..дим. Я этого быка в сапогах знаю, наши уже пи..или его раз в клубе» – запрокинув голову возбужденно грозился парень, по-деловому сглатывая кровь. Поезд, наконец, тронулся.

В Веймар они приехали, когда уже совсем стемнело, и они опоздали на последний автобус. До дачи предстояло добираться пешком, и девушка пошла с ними – она училась в сельскохозяйственном техникуме в соседней деревне и жила в общежитии. С обеих сторон проселочной дороги лежали запаханые поля с вывороченными, тяжелыми пластами глинистой земли. Безлюдная, быстро чернеющая пустота вокруг заставляла ускорить шаг. По дороге они уговаривали спутницу остаться у них переночевать, так как идти одной дальше страшно, да и двери общежития скорее всего будут уже заперты ввиду позднего часа. Она не соглашалась, но деваться ей действительно было некуда, и когда они уже совсем приблизились к деревне, она пошла с ними. Деревня называлась «Большие Пустомержи», было в ней дворов двадцать или тридцать, унылая деревенька на голом косогоре с широким, полноводным ручьем внизу. Срезая путь, они по жердочкам переправились через ручей и соседскими огородами вышли к даче. Первым делом растопили печь – после смерти отца Джона дача редко навещалась – только в такие охотничьи вылазки, и большей частью стояла заброшенной, поэтому всегда была выстуженной. За поздним ужином разговор не клеился, эпизод с избиением в поезде испортил всем настроение, веселья не получалось, и пора было ложиться спать. За столом он получше разглядел ее – теперь она казалась ему очень миловидной: невысокая, с ладной фигуркой, светловолосая, бойкие глаза, сочный рот. Ей отвели постель в смежной комнатке, и пока она прибирала посуду со стола, они с Джоном вышли на крыльцо покурить.

– Заметил, какое у нее тело? Тугое-тугое. Пока я печь растапливал, она рядом стояла, коснулся ее – тугое, аж гудит. По комнате прошлась... знаешь этот звук, шорох, шуршанье, когда бедра в капроне друг о дружку трутся! Короче, ты собираешься со своей девственностью расставаться? Не то я сам пойду.

– Я тебе пойду. Как миленький отправишься дрыхнуть наверх.

– Согласен. Я понял, что не нравлюсь ей, но ты будешь последним мудаком, если ...

– Кроткая, беззащитная девушка по неопытности доверилась двум юношам в поисках пристанища, не подозревая, что отдает себя во власть сластолюбивых чудовищ...

– Не теряй время на треп, ночь скоро кончится, и нам рано вставать. Я пошел спать, а ты оцени мою жертву.

Джон отправился восвояси, а он, нисколько не колеблясь, прошел в комнатку, где на кровати, повернувшись лицом к стене, лежала их ночная гостья. Она легла не раздеваясь, и наверно еще не заснула. Вышедшая луна через не задернутые окна освещала тесное пространство комнаты. Этот совершенно особый свет удивительно точно гармонировал с некрашеным, оструганным брусом голых стен, приобретших со временем терракотовый оттенок, с иссохшимся мхом, торчащим из пазов, и даже с запахом старых, чужих вещей. На дверном проеме висела картина, выполненная маслом художником-любителем начала века – раздетая натурщица в пол-оборота к зрителю. Высокая, крупная женщина с пышными каштановыми волосами, убранными в пучок, с оплывшей талией и тяжелой грудью, которую приходилось поддерживать рукой. Неуклюжая, судя по нелепой позе; необоснованно пугливая и абсолютно нежеланная. Может, потому, что была неживой? Он разулся, снял брюки и остался в тонком, горчичного цвета, свитере, постеснявшись лечь совсем раздетым.

Лунный свет вместе с ним перебрался в уже согретую постель. Это было незнакомое ему тепло, но он уговаривал себя, что так уже было сотни раз и ничего нового он не почувствовал, ощутив это тепло, но так было лишь в первые мгновения или первые полчаса, пока он не впитал в себя это тепло и не понял, что не хочет с ним расставаться. Он лежал рядом с ней, льнул к ее спине, осторожно подстраиваясь к очертаниям ее тела, и был абсолютно трезв и спокоен и не понимал, откуда у него этот опыт. Не оборачиваясь к нему, она отнимала его руку, снова и снова находившую ее ноги, голое тело под кофтой, и он чувствовал, что и она тоже, как убитая. Она ничего не говорила ему в эти первые минуты, вся в напряженном молчании, а он ничего не хотел больше и не знал, чего еще надо хотеть, кроме этого тепла.

Устав бороться с ним, она повернулась на спину и пристыдила его, что он не дает ей спать, а ведь ей рано вставать. Она не злилась на него, смирившись с тем, что покоя ей не дадут. Отвечая на его расспросы, она рассказывала о себе, о техникуме... и как-то примитивно у нее это получалось, видимо, от старания не ударить в грязь лицом перед ним, и он про себя отметил, что она глуповата, но не обиделся на нее за это и не стал меньше любить. Пока они шептались луна пропала и в комнате сделалось совсем темно и усилилась жара. Кровать торцом стояла впритык к круглой печке – голландке в железном футляре, и стоило ему по забывчивости вытянуть ноги, как он обжигал ступни. – это смешило его, он представлял себе, как завтра будет рассказывать Джону об этой помехе. Глупо было и дальше преть в одежде под одеялом, и она сняла с себя кофту и чулки, и передала ему этот ворох, чтоб он положил его на стул рядом с кроватью, и когда он дотягивался рукой до стула, он снова обжегся.

Неужели он все это помнит?

Потом он почувствовал, что они оба устали от слов. Глубокая ночь и темнота сделали мысли лишними, куда-то исчезли силы и появился страх заснуть.

– Ты не думай, я не больна, – ни с того, ни с сего, робко произнесла она в полной тьме и тишине...

Тогда он не захотел понять этой ее фразы, не осмелился расценить ее, как согласие, как приглашение. Ему было семнадцать лет, и он толком не понимал, что с его стороны должно последовать за этими словами. Сейчас ему самому не верилось, что он был таким.

Вскоре стало светать. На прикроватной тумбочке внезапно резко и громко зазвенел будильник.

– Б-дь! – вырвалось у нее, и тут же прикрыла охальный рот ладошкой. – Ой, извини.

Она вылезла первой из кровати и, пока одевалась, он еще остро не сожалел о том, что все кончилось – ее тепло еще оставалось с ним, и когда он провожал ее до калитки, и когда,

прощаясь, договаривались о какой-то встрече, в которую обе не верили, и когда с Джоном целый день бродили по замерзшим вспаханым полям, отыскивая по оврагам заячьи норы, и когда стаканами пили «Ванна Таллинн» у соседа под жареную зайчатину, и когда курили в тамбуре на обратном пути, и когда сидел на лекции на следующий день, и на следующий...ее тепло было еще с ним, и он постоянно вспоминал его, но теперь уже точно тоскуя и сожалея, что все кончилось....

9.

Евдокимов уже спал. Слава богу, он никогда не храпел. Как ему это удавалось при его толщине и короткой шее? А у него сна ни в одном глазу, хоть слонов считай. У каждого свой способ. В детстве дед советовал повторять про себя : «Белая лошадь, черная лошадь...Белая лошадь, черная лошадь...». Никогда не действовало.

«Виски «Белая лошадь» чистое, как слеза. По стакану можно? -Можно. По другому можно?– Можно. Дальше удержаться можно? – Нельзя». Да... виски сейчас помогло бы. Из какого же это спектакля? «Четвертый»? Неплохой был спектакль в БДТ... Они опоздали к началу и первое действие простояли на галерке... Нет, там была другая песня, но очень похожая по стилю. А еще тогда его покорило от услышанного : «...но она почему-то любит заниматься *этим* именно с тобой». Главный редактор говорит герою... Это же плагиат, сперто у Хемингуэя слово в слово. Но, может быть, Симонов сделал это неосознанно, непреднамеренно, просто забыл, откуда эта фраза всплыла в его мозгу и посчитал за свою. Такое бывает. Они еще с Леной поспорили тогда в антракте на эту тему...

Пожалуй, придется встать, выключить «козла», слишком душно становится...

Заснет он сегодня или нет? Похоже, что нет. Бессонница – первый симптом невроза, как тебе известно.

...Выйдя из дома, они долго ждали трамвая. До Ланской могла довести только «двойка», а она ходила редко.

– В ту сторону уже три прошло, а оттуда ничего.

– Давай не будем спешить. В субботу электрички идут одна за одной. Приедем, когда приедем.

– Хочется побыстрее, раз уж мы, наконец, собрались. Пока тебя раскачаешь, всякая охота пропадет. Они звонили и передали, что будут ждать нас к ужину, что без нас не сядут за стол.

– К ужину мы успеем, разве только у них не принято ужинать раньше семи.

Он представил, как «двойка» сейчас заполняется пассажирами на кольце у ЦПКиО, из диспетчерской выходит вагоновожатая, залезает в вагон, занимает свое место перед простеньким пультом, раскладывает пачки талонов, что-то чиркает в путевом листе, терпеливо дожидается бегущих к трамваю, через зеркало окидывает взглядом салон... и вагон трогается. Всегда, когда так представишь, трамвай тут же приходит. Громоздкую хозяйственную сумку, мешавшую ему в руках, поставил на землю. Ее содержимое – банка с салатом из морской капусты и пара батончиков, раздражало его.

– Все-таки надо было купить бутылку вина или шампанского Неудобно с пустыми руками заявиться, тем более с этой убогой банкой. Уж лучше, вообще, ничего не везти – как ты не понимаешь!

– Не выдумывай. Все знают, что мы студенты, откуда у нас деньги на шампанское? А на даче постоянная нужда в свежем хлебе, вот мы его и везем. Иди по вечерам вагоны разгружать, как многие делают. Тогда и говори... Тогда и требуй...

– Мы оба получаем повышенные стипендии, родители нам помогают, живем на всем готовом, за квартиру не платим... Зачем мне разгружать вагоны? Ради идеи о мужчине-кор-

милые? Моя работа о сплено-коронарном анастомозе заняла второе место на городском конкурсе студенческих научных работ... Я не виноват, что за это не платят. Я пойду разгружать, я не против, но скажи – ради чего?

«Прекрати. Она-то в чем виновата? Она так обрадовалась этой поездке, вот и не портить ее. Смотри, как она напряжена... Ты можешь обидеть ее нечаянно и по своей толстокожести даже не заметишь этого. Помнишь недавно... вы должны были пойти в театр, ты пришел из института, дверь открыла она и ты увидел, что она постриглась. – Ну, как? – с задорным кокетством тряхнула стриженными волосами. Буркнув, что тебе не нравится, что слишком коротко, прошел в ванную, оттуда на кухню, и только заждавшись, что обед не подают, заподозрил неладное и вернулся к ней в комнату. Она, свернувшись калачиком на стуле, затравленно смотрит в окно, а глаза на мокром месте. – Я думала тебе понравится, хотел сделать сюрприз... – сказала она, уже успокаиваясь, а вернее свыкаясь с обидой. – Да я просто не пригляделся, стрижка модная, тебе идет... – лгал он распухшим от слез глазам, с неприязнью оглядывая оголенную парикмахером шею».

Когда они сошли в Репино, было ровно шесть вечера. Дождь, заставший их на платформе Ланской, кончился, пройдя здесь, очевидно, сильным ливнем – набухший, порозовевший песок еще продолжали размывать узкие струйки стекающей под уклон дождевой воды, стволы деревьев до ветвей почернели и в воздухе стояла сырость.

– Обними меня. Холодно. – в треугольном вырезе жакетки была видна плоская озябшая грудь, покрытая гусиной кожей, и он подумал, что действительно похоже на гусиную кожу. Он распахнул свою куртку, Лена юркнула подмышку, и так они пошли, прижатые друг к другу его рукой. Сегодняшним утром, рыская по антресолям, он извлек из-за коробки с елочными игрушками джинсы, что сейчас были на ней – подростковые, с аляповатым тигром на заднем кармане. Сидели они мешковато, да и коричневая жакетка тоже. Она сильно похудела после того, как в летние каникулы перед пятым курсом съездила на юг, в Гудауты. Он просто не узнал ее по возвращении – лицо заострилось, стало суше и жестче, выступили ключицы. Она стала стройней, но одновременно пропало юное в облике. Он понимал, что произошедшая перемена прочна, и возврата к прежнему облику не будет. Для него это было потрясением. Он-то был влюблен в ее прежний образ и не хотел никаких отступлений от него. Что произошло там на юге? Один месяц – и такая метаморфоза.

– Когда ты была здесь в последний раз?

– Давно, года два назад.

– Не заблудимся? Эти дачные поселки так спланированы, что отыскать нужный адрес всегда превращается в проблему.

– Там негде плутать, их дача у дороги. В тот раз дядя Миша подарил мне томик Блока. Он считал, что в «Снежной деве» есть строки про меня : « И

я, как вождь враждебной рати, всегда закованный в броню, мечту торжественных обрядов, в священном трепете храню»... Не понимаю твоей усмешки. Раньше ты не иронизировал над моими слабостями. Тебя что, жизнь замучила, как всех?

« Да, раньше... Действительно, с этого все и началось у них. В десятом классе. Он впервые пригласил ее в кино и они долго шли по Савушкина, обсуждая роман « Кентавр» , печатавшийся в то время в «Иностранке». Моросил дождь, нисколько не мешавший им. На ней был серый плащ, старенький, какого-то немислимого фасона и, наверное, с чужого плеча, скорее всего мамин. Потом они стали читать друг другу стихи- естественный порыв, безо всякой рисовки. Они хотели раскрыться друг перед другом, они же были только вдвоем. Она читала своего любимого Бернса... Он поразился ее выбору, когда услышал, как она с каким-то хищным вызовом и внутренним одобрением, начала: «Так весело, отчаянно шел к виселице он. В последний раз, в последний пляс пустился Макферсон. Привет вам, тюрьмы палача, где жизнь влачат рабы. Сегодня ждет меня петля и гладкие столбы. Я жизнь свою провел в бою, умру не

от меча. Изменник предал жизнь мою веревке палача. Разбейте сталь моих оков, верните мой доспех. Пусть выйдут десять смельчаков – я одолею всех. ...Но жалок тот, кто смерти ждет, не смея умереть... Так весело, отчаянно шел к виселице он. В последний раз, в последний пляс пустился Макферсон».

– Если я правильно понял, Михаил Георгиевич работает вместе с твоим отцом?

– Нет же. Никогда не слушаешь, что я тебе говорю. В конце войны дядю Мишу репрессировали по ложному доносу. Дали семь лет и еще три года поражения в правах. Когда освободили, он нигде не мог устроиться на работу. Какое-то время даже в артели по изготовлению пуговиц работал, и с той поры даже придумал себе прозвище – Пер Гюнт. Папа тогда возглавлял КБ на «Красном Сормове», в Горьком, и взял его своим замом. Это было давно, в начале пятидесятых. Дядя Миша сейчас сам главный конструктор в «Малахите», уже много лет. Живут они на Кронверском, мне всегда нравилось бывать у них, а дядю Мишу просто обожаю.

– Я думал он тебе действительно дядя.

– Нет, это у меня с детства так и осталось.

Они уже довольно долго шли по асфальтированной дороге мимо дач, затем справа потянулся темный, хвойный лес, и потом опять с двух сторон дачи. Дом Кольцовых стоял в заросшей лесом низине, найдя себе место вписаться среди высоких деревьев. Дачные участки по эту сторону дороги в тени мрачных мохнатых елей казались запущенными по сравнению с ухоженными, возделанными садами домов напротив, стоявших на голом, открытом пригорке. Щитовой одноэтажный дом выглядел изношенным, крыша давно не чистилась, потемневший со временем шифер местами порос мхом и был усыпан опавшей хвоей. Розовая краска на стенах выцвела, крошился фундамент. Новым был только забор, штaketник еще не успели выкрасить, а по периметру валялись трухлявые остатки прежней ограды.

Хозяев на участке видно не было, но один из обитателей дачи – внушительных размеров эрдельтерьер величаво, как сфинкс, возлежал на крыльце под навесом. Заметив гостей, пес резво вскочил, на секунду замер в нерешительности, в полголоса тявкнул и тут, узнав Лену, в два прыжка очутился перед ней и, встав во весь рост, навалился передними лапами ей на грудь.

– Домби! Сумасшедший, я же упаду! – ей с трудом удалось отпихнуть от себя собаку и, нагнувшись к ней, она с наслаждением погрузила пальцы в черные завитушки шерсти на спине. – До-о-омби... Собаченция... Ну, здравствуй... Хороший, хороший...

На крыльцо, торопливо вытирая о передник мокрые руки, вышла пожилая, красивая женщина.

– Наконец-то вы посетили нас, молодожены. Здравствуйте. Леночка, – целуя ее в подставленную щеку и продолжая вытирать руки, – а что же мама с папой не приехали? Надо было силком тащить их с собой, вечность у нас не были.

Совсем не по-дачному выглядела приколотая у выреза шелковой, кружевной кофты крупная камешка в золотом ободке, и аккуратная прическа, и макияж, но чувствовалось, что это обычный, повседневный стиль.

– У нас же бабушка, мамина мама, сейчас живет, – пояснила Лена с соответствующей этому нерадостному обстоятельству гримаской. – Одну ее не оставишь. Она совершенно невменяемая, ничего не соображает... Вчера папу напугала – забрела к нему в кабинет, когда мамы не было дома, и вообразила, что он – грабитель, проникший в квартиру. Крик подняла на весь дом, еле успокоили. Вот такая у нас обстановка невеселая. Ну, Домби, что же ты рычишь? Хороший... Славный... Тетя Марина, а это мой муж.

Пока он ждал, когда его представят, упоминание о бабке заставило его вспомнить это существо, появившееся в квартире с месяц назад. Ее привезли из Витебска и согласно очереди передали с рук на руки от старшей дочери средней. Ему тоже случалось оставаться с ней наедине, и он тоже опасался этой старухи с болезнью Альцгеймера, с остекленевшим взглядом «пиковой дамы», тяжело шаркающей из комнаты в комнату в сером вязаном кардигане. Она не

хотела пребывать в одиночестве и неизменно находя его, садилась где-нибудь напротив, пристально вглядываясь в избранную точку на его лице, беззвучно шевеля губами. Нередко ему казалось, что она только притворяется сумасшедшей. Загипнотизированный ее бесстрастным созерцанием, он пытался понять, что на самом деле скрывается за ее белесыми от запущенной катаракты глазами и ждал, что вот-вот грязно-седая, краснолицая голова доверит ему свои сокровенные мысли, но, посидев так с полчаса, старуха выкрикивала:

– Рая, надо хорошенько спрятать деньги.

И был невыносим сладковатый, прелый запах, исходивший от нее.

На пятом курсе занятия по сенильным психозам на кафедре психиатрии проходили в диспансере на Войнова... К тому времени его уже не могли смутить никакие зловония гнойных перевязочных или прозекторских... Но то, чем был пропитан воздух огромной, коек на тридцать, палаты, заполненной шевелящимися, хихикающими, бормочущими телами... Тошнотворный смрад разлагающейся, безумной старости.

Ужинали на веранде. Окон не открывали, чтоб не докучали комары, да и свежо было вечером после дождя. Конусный пучок света, заданный низко свисающим с потолка абажуром, ярко освещал белую скатерть с расставленным чайным сервизом, оставляя в полутени лица, сидящих за столом. Их с Леной усадили на старый кожаный диван, несколько низковатый и поэтому неудобный, особенно во время первых блюд, но зато сейчас, за чаем, можно было с комфортом откинуться на спинку и неторопливо потягивать никчемный напиток – ликер.

Они были не единственными гостями в тот вечер. Рядом с хозяином сидел капитан первого ранга в распахнутом черном кителе с золотыми галунами. Черноволосый, среднего роста и крепкого телосложения мужчина лет сорока, с широким, лобастым лицом, весело сверкающими глазами и белозубой улыбкой.

– Александр Сергеевич, – представился капитан при знакомстве. – И как ни странно, тоже Пушкин. Увы, не родня, всего лишь наглый однофамилец. Хотя и не чужд сочинительству. Вот с Михаил Георгиевичем дело одно добьем, тогда, пожалуй, можно будет за мемуары взяться.

Хозяин сидел напротив в белой рубашке с расстегнутым воротом, справа от него – тетя Марина. Застекленные соты окон веранды, расплывчато, как мираж, отражали мизансцену дачного чаепития, и почему-то манило посмотреть на застолье еще и снаружи, из шумевшего рядом леса, разглядеть горящий китайский фонарик веранды оттуда, из темноты.

Увидев Кольцова, он не сразу разделил симпатии Лены к этому человеку. Аккуратно зачесанные назад седые волосы, очень высокий лоб с большими залысинами, мякотное, холерное лицо – кинематографический типаж молодящегося служителя муз и все еще преуспевающего ловеласа. Только вот взгляд... редко встретишь такой – не заискивающий, но сразу оценивающий вас, настороженный взгляд человека, которого много раз предавали и теперь готового в любой момент столкнуться с новым предательством или непониманием, и готового в одиночку бороться до конца. Презрительно сжатые тонкие губы. Но голос все ставил на место – добрый, немного усталый, мужской...

– Лес миновали, железная дорога... Когда к насыпи подошли, вдали поезд показался... конвой командует: «На колени!». Прямо в снег плюхаемся, ждем, пока пройдет товарный. Сам думаю: «Неужели в последний раз вот так? Врут. Не верь». Вагоны над головой грохочут... Встали – строй на работы, а меня на станцию. Везли в купе, и я до самой Москвы отсыпался. Совещание в наркомате обороны – в президиуме академики, адмиралы, генералы... Мой доклад шел третьим. Стенографистка подходит: «Как ваша фамилия?». Мне сьерничать захотелось, назвал ей свой номер лагерный. Она решила, что я суперзасекреченный, так и поставила его у себя в бумагах.

– Это вы там свои парогазовые турбины защищали? Уже тогда? – осторожно спросил, явно знакомый с сутью работ Кольцова, капитан первого ранга.

– Не только, там и о гидрореактивных ускорителях речь шла. Ладно... Доклад прошел триумфально. Подходили, поздравляли, руки трясли... Ко мне полковник приставлен был, когда в гостиницу возвращались, он в машине мне говорит: «Миша, сегодня твой день. Проси, что хочешь. Хочешь в ресторан?». – Кольцов горько усмехнулся. – Я попросил у ларька останиться, кружку пива выпить... Сейчас уже можно сказать – если бы не «атомы», на современных лодках стояли бы мои двигатели.

Кольцов пригубил из рюмки водки, которую не разрешил убирать со стола, несмотря на то, что уже перешли к десерту, и, почувствовав, что все хотят слушать его дальше, повиновался

– Но потом все оказалось не таким радужным, через два дня меня вернули назад, потом определили в спецточку МВД, и держали там до пятьдесят второго года. А еще через год, Леночка, я познакомился с твоим папой.

– В Горьком?

– Да. Он тогда вернулся из Германии, где демонтировал заводы, по производству подводных лодок – немецких «Вальтеров» – проект, откуда мы немало почерпнули в свое время. Да ты должна знать. Кто у вас в институте корпуса читает, Вайнштейн? Уж он наверняка упоминал об этом.

Горьковская верфь была для меня последним шансом. Драгоценным шансом. Зосим Александрович ведь тогда и разрешение на проживание в Горьком для меня выбил. В отделах кадров меня до этого встречали примерно так – начальник знакомился с личным делом и в следующий мой визит вел себя подчеркнуто дружелюбно, всячески демонстрируя свое осуждение недавних порядков. Снимал наручные часы и, показывая мне, говорил: «Американские. Точность изумительная, просто фантастика какая-то! А скажи я это пару лет назад, где бы я был, а?». И прежде, чем промямлить отказ, сокрушенно вздыхал, ссылаясь на первый отдел.

За окнами зашумел ветер и по окнам забарабанили твердые капли дождя, заполняя возникшую паузу в монологе. Перемена в погоде подтолкнула к смене темы разговора.

– Михаил Георгиевич, а я вашу чеканку в кают-компании собираюсь повесить. – Пуцкин размашисто улыбнулся, поворачиваясь всем телом к Кольцову- Ту самую, что вы мне на день рождения подарили.. С видом на Петропаловку. Мастерская работа. Никто не верит, что автор не профессиональный художник.

– Смотри, лодку не перегрузи, Александр Сергеевич. Сам знаешь какое водоизмещение у нас крохотное.

– Нет, правда – почему бы вам свою персональную выставку не открыть? Даже того, что здесь на даче представлено, вполне хватило бы.

Кольцов пропустил мимо ушей льстивое и явно риторическое предложение.

– А ты, Иван, какую область медицины избрал для себя? Хирургию, конечно? Всегда завидовал хирургам, особенно кардиохирургам.

Он отвечал, что еще не определился, и хотя занимается в СНО по торакальной хирургии, но сейчас все больше склоняется к мысли, что общая хирургия интересней, разнообразней, там больше простора для рук. В конце концов, сердце – это только мышца.

– Кстати, Миша, ты давно не делал кардиограмму. Глотаешь валидол горстями, вместо того, чтоб к врачу сходить.

– Ну, мало ли чего я давно не делал, – Кольцов выразительно посмотрел на жену, пытаюсь вызвать ее смущение, но это ему не удалось.

– Лена, я вижу пора убирать бутылки.

– Время убирать и время собирать... бутылки. А главное – время сдавать. Когда-то это помогало дотянуть до зарплаты. Я иногда с ужасом думаю, сколько же денег прошло через мои руки! Не буду говорить насколько мы их оправдали, думаю, что все-таки оправдали... Но с

возрастом люди становятся скупы, и сейчас я далеко не так просто воспринимаю миллионные бюджеты моего КБ. «Жигули» можно было бы каждому подбирать под цвет глаз.

Пушкин тяжело вздохнул и солидно покачал головой, демонстративно подтверждая свое согласие с таким выводом.

– А что, если нам перебраться в гостиную и разжечь камин? Но перед этим предлагаю выпить за ваш союз, молодые люди. Достаточно беглого взгляда, чтоб понять – вы пара, и поверьте, я редко кому это говорил.

Потом Пушкин заспешил на электричку, пришлось выпить еще на посошок. Последняя порция водки оказалась лишней. Какое-то время он заставил себя сидеть, как ни в чем не бывало, улыбаться, выдавить из себя : «Конечно, с удовольствием» в ответ на предложение послушать Вертинского, но скоро понял, что сопротивление бесполезно и , стараясь избегать резких движений, встал и вышел прочь. Не замечая дождя, медленно, словно за ним могли наблюдать, прошел по заросшему участку к задней калитке и, пройдя еще несколько метров, очутился в лесу, где его уже никто не мог видеть.

Потом, когда стало легче, с благодарностью оттолкнулся от мощного ствола ели, корни которой только что осквернил, и вышел под дождь. Надеясь протрезветь, он не торопился уходить из-под холодных капель льющейся с неба воды. Одновременно он испытывал облегчение, что на время покинул общество Кольцова. Он понимал, что на его фоне сам выглядел невзрачно. Глупо, конечно, так думать – Кольцов в три раза старше... и все-таки там, на веранде, он не мог побороть в себе зависть к этому человеку, который даже легко перепил его, молодого, не говоря уже о всем остальном.

Пред глазами мокли в темноте серые задники соседских дач: сарайчики, поленницы, грядки под целлофановыми пленками, будки уборных... Задворки... тоже среда обитания.

Вернувшись в дом, он понял, что никто не обратил внимания на его отсутствие.

«Где-то возле Огненной Земли,

Плавают в сиреновом тумане,

Мертвые, седые корабли...» Ни на что не похожие, и слова, и голос, и музыка.

– Журфикс в разгаре, – ехидно шепнул он, подсев к Лене. – Сейчас полагаюсь бы свечи зажечь, в лото сыграть, а лучше в настольный крокет. Ты умеешь, надеюсь?

Тонкие, иконописные брови досадно дернулись

– Не мешай.

Кольцов наслаждался пением, но слушать до конца не стал – поздно. Провел шутивную параллель между героиней в «голубых пижамах» и своей секретаршей, откланялся и покинул общество. Следом вышла тетя Марина.

... Им постелили на чердаке, где была оборудована маленькая спальная комнатка для гостей. Разложенная тахта стояла изголовьем к фронтому с квадратным окошком. Свежее, накрахмаленное белье добавляло света в несколько мрачноватое помещенье.

– Мы не предполагали оставаться на ночь, – присев на тахту, обескуражено сказала Лена жене Кольцова, – и я ничего с собой не взяла.

– Подожди, у меня была где-то старенькая ночнушка, из которой я давно выросла , сейчас принесу.

Воспользовавшись ее уходом, он разделся и забрался под одеяло, с удовольствием потянувшись в хрустящей белизне простыней. После принятого в лесу дождевого душа и стакана чая с лимоном он чувствовал себя заново родившимся, и теперь все ему нравилось здесь.

– Шикарный ночлег! – Лежа на спине, он широко раскинул руки на подушках.

– Кого-то ты мне напоминаешь, – усмехнулась Лена, взглянув на него.

– Ты хочешь сказать, что принять позу распятого еще не означает быть распятым. – Его, как ударило. – Успокойся, я отдаю себе в этом отчет. Сегодня меня весь вечер невольно под-

водят к этой мысли. Я знаю, что моя поза – это поза эмбриона. Кстати, обычно на дачах шумно от маленьких детей, и здесь их отсутствие сразу бросается в глаза.

– Ты проницателен. Своих детей у них не было, и они усыновили мальчика из детдома, в силу известных обстоятельств произошло это в позднем возрасте. Им обоим за шестьдесят, а сын Павлик – наш ровесник, и что интересно – копия дяди Миши: рот, нос, подбородок... Бывает же так.

– Вам прочили венцы?

– Ревнуешь заочно? Павлик недавно женился, и надо думать вопли внуков скоро огласят эту тихую обитель. А дядя Миша тебе понравился?

– За что его посадили?

Она пожала плечами и, достав расческу, принялась рассеяно и плавно водить ею по ниспадающим волосам.

– Господи, да тогда за одну фамилию могли расстрелять – Кольцов.

– Это верно. Моего деда звали Николаев Леонид Павлович, точно также, как убийцу Кирова, полный тезка. Бабушка вспоминала, как они боялись тогда каждого звонка в дверь...

– У него неприятности с последним «заказом». Послезавтра улетает в Северодвинск. Нервничает...

– А что он делает?

– Лодку.

– Я понимаю, какую?

– Много будешь знать, скоро состаришься. Откуда мне знать? Краем уха от папы слышала, что нечто уникальное – полностью автоматизирована, экипаж целиком офицерский... Пушкин – командир. Слушай, меня комары сожрали совсем. – пожаловалась она, принявшись свирепо расчесывать ногу у лодыжки.

Внизу закрипели ступеньки винтовой лестницы, и Лена пошла навстречу хозяйке дома. Вернувшись, сложила рубашку на спинке стула и выключила свет. В комнате не стало совсем темно; все, что в ней находилось, сохранило различимые очертания, приобретя одинаковый серый полутон, который, наверное, имеют в виду, говоря : « ночью все кошки серы ».

– Не смотри.

Зряшная просьба. Ему именно сейчас страстно захотелось ее. Она показалась ему очаровательной в старомодной, простенькой рубашке до пят с цветочками по полотну. Они впервые ночевали вне родительского дома, там « кора » никогда не отключалась полностью, и приходилось постоянно прислушиваться к квартирным шумам, и он подумал, что сейчас у них появилась возможность стать раскованней.

– Даже не думай. В чужом доме, воды нет, половицы скрипят... Нет, – залезая в постель, она старалась, чтоб он не видел ее ног. – Все. Спим. Ну, не сердись, – и, чмокнув в щеку, отвернулась от него.

Он не принял примирения. Знакомое опустошение принялось за свою грызущую работу. Он совсем иначе представлял себе ту, во всем абсолютную близость, что по его мнению должна существовать между мужчиной и женщиной в любви. В эту близость должны были перерасти их добрачные, юношеские отношения, но этого не произошло, и его все больше пугала и оскорбляла все уменьшающаяся вероятность этого перевоплощения. Он допускал, что для достижения такой близости ему самому не доставало многого – он не был самостоятелен, не был мужчиной в полном смысле этого слова, у него не было опыта и силы, но он был уверен, что главная причина кроется в другом. Ему по-прежнему было интересно с ней, он видел, что она старается, заботится о нем...

Тогда, что же исчезло? В том-то и дело, что ничего не исчезло. Никуда не исчез зимний вечер в мороженице, куда они зашли гуляя на Островах. На ней было черное пальто с узким, белым воротником из песцового меха, они пили шампанское из « общепитовских » стаканов и

ему было странно ощущать себя избранником семнадцатилетней одноклассницы, ответившей на его ухаживание, на чье лицо он мог смотреть весь урок, не отрываясь. Играла музыка – «The House of the Rising Sun». А у них, через стеклянную стену мороженицы был виден закат – раскаленное за день, багровое солнце, как в черный снег, садилось в тучи у горизонта, но несовпадение с текстом несколько не нарушало созвучия пронзительных струнных аккордов с чувствами, с которыми они тогда смотрели друг на друга в полумраке кафе. Во всей атмосфере было что-то непривычно взрослое. С ними была ее подруга, бойкая и некрасивая, тоже из их класса. Разговор зашел о избрании будущей профессии, кто кем станет. «Ну, Иван, конечно, будет хирургом. Достаточно на его руку взглянуть» – неожиданно произнесла она. – Посмотри, какая красивая, тонкая рука». Для него это было первым признанием, что он ей не безразличен.

Никуда не исчезла память о первом телесном прикосновении, когда в темноте кинозала ощутил через одежду ее дыхание. Не исчезло, но и не получило развития. Почему?

– Ты не спишь?

– Нет. Я жду, когда звезда Аль-Гафр, означающая покрывало женщины, займет благоприятное положение относительно звезды Аль-Иклиль, и тогда нам ничего не сможет помешать.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.